

КНИГА II

За младенчеством следует второй период жизни, на котором, собственно, кончается детство ¹, ибо слова *infant* ², *puer* ³ не являются синонимами. Первое из них вытекает из второго и означает «неумеющий говорить», происходит от *puerum infantem* — выражения, которое мы находим у Валерия Максима ⁴. Но я продолжаю пользоваться этим словом по традиции нашего языка вплоть до того возраста, для которого имеются иные обозначения.

Когда дети начинают говорить, они уже меньше плачут. Это естественный шаг вперед; один язык заменяется другим. Раз они могут высказать словами, что страдают, зачем же им выражать это криками, если только боль не настолько сильна, что ее не выразить словами? Если дети продолжают и после этого плакать, это вина лиц, их окружающих. Как только Эмиль хоть раз скажет: «мне больно», то разве уж только самые сильные боли могут заставить его плакать.

Если ребенок слаб и чувствителен, если от природы склонен кричать ни с того, ни с сего, то, делая эти крики бесполезными и ни к чему не ведущими, я скоро уничтожаю и самый их источник. Пока он плачет, я не иду к нему, и бегу, лишь только он смолкнет; скоро, чтобы подозвать меня, он станет молчать или — самое большее — подаст только голос. О смысле знаков дети судят только по их видимому действию; другого критерия для них нет: какую бы боль ни причинил себе ребенок, он редко заплачет, когда он один или когда, по крайней мере, не надеется, что его услышат.

Если он упадет, ушибет голову, разобьет до крови нос или обрежет пальцы, я вместо того, чтобы с испуганным видом суесться около него, останусь спокойным по крайней мере на некоторое время. Беда случилась — необходимо, чтоб он перенес ее; всякая суестьливость с моей стороны только еще более напугала бы его и усилила бы ощущение боли. Когда поранишь себя, то в сущности мучит не

столько самая рана, сколько страх. Я избавляю его по крайней мере от этого последнего страдания, ибо о своей беде он будет судить непременно так, как, по его взгляду, я сужу: если он видит, что я тревожно подбегаю, утешаю его и жалею, он сочтет себя погибшим; если же он видит, что я сохраняю хладнокровие, он скоро и сам ободрится и, когда перестанет чувствовать боль, будет уверен, что он исцелен. В этом именно возрасте мы берем первые уроки мужества и, перенося без страха легкие боли, постепенно учимся выносить и сильные.

Я не только не старался бы предохранить Эмиля от ушибов, но даже был бы очень недоволен, если б он никогда не ушибался и рос, не зная боли. Страдание — это первая вещь, которой он должен научиться, и это умение ему понадобится больше всего. Можно, пожалуй, подумать, что дети для того и бывают малы и слабы, чтобы без всякой опасности брать эти важные уроки. Если ребенок полетит на пол, он не сломает ноги; если ударит себя палкою, не переломит руки; если схватит острый нож, то сожмет его слабо и неглубоко порежет себя. Я не слышал, чтобы на свободе дети убивались когда-нибудь до смерти, калечили себя или наносили себе значительную рану, если только безрассудно не оставляли их на краю возвышения, одних около огня или с опасными поблизости инструментами. Что после этого сказать о том арсенале орудий, который собирают вокруг ребенка с целью всячески оградить его от боли, так что, ставши взрослым, он остается во власти боли, лишенным мужества и опыта, при первой царапине считает себя умирающим и падает в обморок при виде первой капли своей крови?

Мы одержимы страстью вечно учить детей тому, чему они гораздо лучше научились бы сами, и забывать о том, в чем мы одни могли бы их наставить. Что может быть глупее этого старания научить их ходить, как будто где видано, чтобы кто-нибудь, будучи взрослым, не умел ходить вследствие небрежности кормилицы? Напротив, сколько мы видим людей, которые всю жизнь дурно ходят потому, что их дурно учили ходить!

У Эмиля не будет ни особых шапочек, ни корзины на колесах, ни тележек, ни помочей; по крайней мере лишь только он научится переступать с ноги на ногу, его будут поддерживать только на мостовой, и то для того, чтобы поспешно ее пройти *. Вместо того чтоб оставлять его копытеть в спертom воздухе комнаты, пусть выводят его ежедневно

* Нет ничего смешнее и неувереннее походки людей, которых в детстве слишком много водили на помочах: вот еще одно из замечаний, которые стали пошлыми лишь вследствие того, что они справедливы, и притом справедливы далеко не в одном смысле.

на луг. Пусть он там бегают, резвится, пусть падает хоть сто раз в день, — тем лучше для него: он скорее научится подниматься. Приятное чувство свободы искупит собою много ран. Мой воспитанник часто будет ушибаться, но зато он будет всегда весел; если ваши ушибаются реже, зато они всегда стеснены, всегда на привязи, всегда скучны. Сомневаюсь, чтобы выгода была на их стороне.

Другая сторона развития дает детям еще меньше поводов жаловаться — я говорю о развитии их сил. Чем больше они могут сделать сами по себе, тем реже они пуждаются в помощи другого. Вместе с силою развивается знание, которое дает им возможность управлять ею. На этой именно второй ступени начинается собственно жизнь личности: тут она начинает сознавать самое себя. Память распространяет чувство торжества на все моменты ее существования. Она делается истинно-единою, одною и тою же, а следовательно, способною ощущать счастье и горе. Пора, значит, смотреть на ребенка как на нравственное существо.

Хотя легко определяют наибольшую продолжительность человеческой жизни и вероятность в каждом возрасте достигнуть этого предела, однако нет ничего более неизвестного, чем продолжительность жизни каждого человека в отдельности; очень мало людей достигают этого крайнего предела. Наибольшим опасностям жизнь подвергается при своем начале; чем меньше кто жил, тем меньше должен надеяться жить. Из нарождающихся детей самое большее половина достигает юности, и есть вероятность, что воспитанник ваш не доживет до возмужалости ⁵.

Что же после этого думать о том варварском воспитании, которое настоящим жертвует для неизвестного будущего, которое налагает на ребенка всякого рода оковы и начинает с того, что делает его несчастным, чтобы приготовить ему вдали какое-то воображаемое счастье, которым он, вероятно, никогда и не воспользуется? Если б я даже признавал это воспитание разумным по своей сущности, как все-таки смотреть без негодования на этих бедняг, изнывающих под невыносимым игом и осужденных на непрерывный, как каторжники, труд, без уверенности, что все эти заботы принесут им когда-нибудь пользу! Возраст веселья проходит среди плача и наказаний, угроз и рабства. Несчастливого мучат для его блага и не видят смерти, которую призывают и которая готова захватить его среди этой печальной обстановки. Кто знает, сколько детей погибает жертвою сумасбродной мудрости отца или наставника? Счастье им, что они избавились от этой жестокости: смерть без сожалений о жизни, в которой они знали только мучения, — вот единственное благо, извлекаемое ими из бедствий, которые их заставили вынести.

Люди, будьте человечны! Это ваш первый долг. Будьте такими по отношению ко всякому состоянию, всякому возрасту, во всем, что только чуждо человеку! Разве есть какая-нибудь мудрость для вас вне человечности? Любите детство, будьте внимательны к его играм и забавам, к его милому инстинкту! Кто из вас жалел подчас о том возрасте, когда улыбка не сходит с уст, когда душа наслаждается постоянно миром? Зачем хотите вы отнять у этих невинных малюток возможность пользоваться временем, столь кратким и столь быстро от них утекающим, этим драгоценным благом, злоупотреблять которым они еще не умеют? Для чего вы хотите наполнить горестью и страданиями первые годы, которые мчатся так быстро и не возвратятся уже для них, как не могут возвратиться и для вас? Отцы! разве вы знаете момент, когда смерть ожидает ваших детей? Не готовьте сожалений, отнимая у них тот небольшой запас минут, который дает им природа: как скоро они в состоянии чувствовать удовольствие существования, дайте им возможность наслаждаться жизнью: позаботьтесь, чтоб они не умирали, не вкусив жизни, в какой бы час Бог их ни призвал!

Сколько голосов готовы подняться против меня! Я издали слышу вопли той ложной мудрости, которая беспрестанно отвлекает нас от самих себя, настоящее всегда считает за ничто, неутомимо преследуя будущее, убегающее по мере приближения к нему, — той мудрости, которая, перенося нас туда, где нас нет, переносит таким образом и туда, где мы никогда не будем.

В это-то время, говорите вы, и нужно исправить дурные склонности человека; в детском именно возрасте, когда скорби менее всего чувствительны, и нужно умножать их, чтобы предохранить от них разумный возраст. Но кто вам сказал, что все это распределение в наших руках и что все те прекрасные наставления, которыми вы оглашаете слабый ум ребенка, не будут для него со временем скорее губительны, чем полезны? Кто вас уверил, что вы что-нибудь выгадываете теми печальями, которыми вы так щедро его наделяете? Зачем вы ему уделяете больше бедствий, чем их связано с его состоянием, раз вы не уверены, что эти настоящие бедствия послужат облегчением для будущего? И как вы докажете, что дурные склонности, которые вы претендуете искоренить, не порождены в нем гораздо скорее вашими дурно направленными заботами, чем природою? Жалкая предусмотрительность — делать человека несчастным теперь, в надежде — будь она верна или нет — сделать его счастливым потом! Но если эти грубые резонеры своеволие смешивают со свободой, счастливого ребенка с избалованным, то научим их различать эти вещи.

Чтобы не гнаться за химерами, не будем забывать того, что прилично нашему положению. У человечества — свое место в общем порядке Вселенной, у детства — тоже свое в общем порядке человеческой жизни: в человеке нужно рассматривать человека, в ребенке — ребенка. Указать каждому свое место и укрепить его на нем, упорядочить человеческие страсти сообразно с организацией человека — вот все, что мы можем сделать для его благосостояния. Остальное зависит от посторонних причин, которые не в нашей власти.

Мы не знаем, что такое абсолютное счастье или несчастье. Все перемешано в этой жизни: здесь не испытаешь ни одного чувства совершенно чистым, двух моментов не пробудешь в одном и том же состоянии. Ощущения души нашей, равно как и изменения нашего тела, представляют собою непрерывное течение. Добро и зло свойственны всем нам, но в различной мере. Самый счастливый тот, кто терпит меньше всего скорбей; самый несчастный тот, кто испытывает меньше всего радостей. Всегда страданий больше, чем наслаждений, — это удел, общий для всех. Таким образом, счастье человека в здешнем мире есть состояние только отрицательное: мерилом его должно быть наименьшее количество бедствий, испытываемых человеком.

Всякое скорбное чувство неразрывно с желанием избавиться от него; всякая идея удовольствия неразрывна с желанием пользоваться им; всякое желание предполагает собою лишение, а все лишения, испытываемые нами, прискорбны; таким образом, нищета наша состоит в несоразмерности наших желаний с нашими возможностями. Чувствующее существо, способности которого равнялись бы желаниям его, было бы существом абсолютно счастливым.

В чем же, значит, заключается человеческая мудрость, — иначе говоря, где путь к истинному счастью? Она состоит не в ограничении наших желаний, ибо, если бы последние были уже наших сил, то часть наших способностей оставалась бы без применения и мы не наслаждались бы всем нашим бытием; она и не в том состоит, чтобы расширять наши способности, ибо, если наши желания вдруг расширились бы еще в большей пропорции, то мы только стали бы еще более несчастными. Истинная мудрость заключается в ограничении избытка желаний сравнительно со способностями и восстановлении совершенного равновесия между силами и волею, — тогда только все силы будут в действии, а душа между тем останется покойною, и человек окажется вполне уравновешенным.

Природа, которая делает все к лучшему, первоначально так именно и устроила человека. Непосредственно она дает ему только желания, необходимые для самосохранения, и способности, достаточные для удовлетворения этих желаний. Все прочие она укрывает в глу-

бине его души, как бы в запасе, чтоб они развивались по мере надобности. Только в этом первобытном состоянии и встречается равновесие между силой и желанием, и человек не бывает несчастным. Лишь только эти способности, присущие в виде возможности, переходят в действие, воображение — самая деятельная из всех способностей — пробуждается и опережает их. Оно-то и расширяет для нас границы возможного, в хорошую или дурную сторону, а следовательно, возбуждает желания и питает их надеждою на удовлетворение. Но предмет, который сначала, казалось, был под рукою, убегает так быстро, что мы не можем его нагнать; когда мы полагаем, что настигли, он принимает новый вид и оказывается далеко впереди нас. Не видя пространства, уже пройденного, мы считаем его за ничто, а пространство, которое остается нам пройти, непрестанно увеличивается и расширяется. Таким образом мы истощаем силы, не достигая предела, и, чем более мы выиграем в наслаждении, тем дальше уходит от нас счастье.

Напротив, чем ближе человек остается к своему естественному состоянию, тем менее разницы между его способностями и его желаниями и тем, следовательно, менее удален он от счастья. Никогда он не бывает менее несчастным, чем в тот момент, когда он, по-видимому, лишен всего, ибо несчастье состоит не в лишении вещей, а в нужде, ощущаемой нами.

Действительный мир имеет свои границы, мир воображения безграничен: не будучи в состоянии расширить первый, сузим второй, ибо единственно от разницы между ними рождаются все скорби, которые делают нас истинно несчастными. Отнимите силу, здоровье, прекрасное самочувствие — и все блага этой жизни станут мнимыми; отнимите скорби тела и угрызения совести — и все бедствия станут воображаемыми. Это общий принцип, скажут мне; я согласен; но практическое приложение его нельзя назвать общим, а о нем только мы и ведем здесь речь.

Мы говорим: «человек слаб»; но что это означает? Слово «слабость» указывает на известное отношение, на отношение в свойствах того существа, которое мы называем слабым. То существо, в котором сила превосходит потребности (будь это даже насекомое, червь), есть существо сильное; а в ком потребности превышают силу (будь это слон или лев, будь завоеватель, герой, бог), тот — существо слабое. Возмущившийся ангел, недовольный своею природою, был более слабым, чем счастливый смертный, мирно живущий сообразно со своею природой. Человек очень силен, когда он довольствуется быть тем, что он есть; но он оказывается очень слабым, если хочет подняться выше человечества. Не воображайте поэтому, что, расширяя свои способ-

пости, вы тем самым расширяете свои силы: напротив, вы их уменьшаете, если гордость ваша простирается дальше ваших сил. Измерим окружность нашей сферы, останемся в центре, как паук среди своей паутины, и мы всегда будем довольны самими собою; нам незачем будет жаловаться на свою слабость, ибо мы не будем никогда ее чувствовать.

Животные все имеют ровно столько способностей, сколько необходимо им для самосохранения. Один человек имеет избыток в них. И не странно ли, что этот избыток служит орудием его несчастья? Во всякой стране человек своими руками может заработать больше того, что нужно для пропитания. Если бы он был настолько мудр, чтобы считать этот излишек за ничто, — он всегда имел бы необходимое, потому что никогда не имел бы ничего лишнего. Большие потребности рождаются от больших богатств, говорил Фаворин ⁶, и часто, чтобы приобрести вещь, которой у нас нет, лучшим средством для этого служит — отнять у себя те, которые есть. Выбываясь из сил, чтобы увеличить свое счастье, мы этим путем попадаем в несчастье. Всякий человек, который желал бы только одного — именно жить, был бы счастлив, а следовательно, и добр, ибо что ему была бы за выгода быть злым?

Если бы мы были бессмертны, то мы были бы самыми несчастными существами. Тяжело, конечно, умирать; но зато приятно надеяться, что не вечно будешь жить и что скорби этой жизни закончатся лучшей жизнью. Если бы нам предложили бессмертие на земле, кто захотел бы принять этот печальный дар? * Какое прибежище, какая надежда, какое утешение оставалось бы нам тогда против жестокостей судьбы и несправедливости людей? Невежда, который ничего не видит впереди, мало чувствует цену жизни и мало боится потерять ее; человек просвещенный видит блага высшей цены, которые он и ставит выше жизни. Только полужнание и ложная мудрость, простирая взор свой до смерти, но не дальше, делают ее для нас худшим из зол. Для человека мудрого необходимость умереть — это только довод в пользу того, чтобы переносить скорби. Если б мы не были уверены, что некогда расстанемся с нею, то не стоило бы и сохранять ее.

Наши моральные бедствия зависят от людского мнения, кроме одного, именно преступления: последнее зависит от нас; наши физические бедствия или сами прекращаются, или губят нас. Время или смерть — вот наше лекарство; но мы тем больше страдаем, чем меньше умеем страдать, а между тем мы хлопочем над тем, чтобы излечить

* Разумеется, я здесь говорю о людях, которые умеют размышлять, не обо всех людях.

наши болезни, вместо того чтоб учиться их переносить. Живи согласно с природой, будь терпелив и гони прочь врачей; ты не избежишь смерти, но ты испытаешь ее всего раз, между тем как они ежедневно ее приносят в твое встревоженное воображение, а лживое их искусство вместо того, чтобы продолжать твои дни, отнимает у тебя возможность наслаждаться ими. Я не перестану спрашивать: каким истинным благом наделило людей это искусство? Одни из тех, которые лечились, правда, умерли бы без этого; но зато миллионы людей, которые от него погибли, остались бы живы. Рассудительный человек, не пускайся в эту лотерею, где слишком много шансов против тебя! Страдай, умирай или, пожалуй, лечись, но все-таки живи до самого последнего своего часа.

В человеческих учреждениях все не что иное, как безумие и противоречие. По мере того как жизнь наша теряет свою цену, мы все более и более о ней беспокоимся. Старик дорожит ею больше, чем молодежь; им не хочется терять тех приготовлений, которые они делали, чтобы наслаждаться ею; слишком жестоко — умереть в 60 лет, не начавши жить! Думают, что человек питает сильную страсть к самосохранению (и это правда), но не замечают, что страсть эта в том виде, как мы ее чувствуем, в значительной степени есть дело наших же рук. По природе человек заботится о своем сохранении лишь настолько, насколько у него есть для этого средства; лишь только эти средства ускользают от него, он успокаивается и умирает без напрасных мучений. Первый урок покорности Провидению дает нам природа. Дикари, равно как и звери, очень мало противятся смерти и встречают ее почти без жалоб. Когда этот закон природы нарушился, явился другой, ведущий начало от разума; но немногие умеют извлекать его, и это искусственное самоотречение никогда не бывает таким полным и всецелым, как первое.

Предусмотрительность! Да, предусмотрительность, которая беспрестанно нас уносит дальше нас самих и часто увлекает туда, куда мы никогда не попадем, — вот истинный источник всех наших бедствий. И откуда это у такой тленной твари, как человек, такая страсть смотреть всегда вдаль, в будущее, которое так редко приходит, и пренебрегать настоящим, в котором он уверен? Эта страсть тем губительнее, что с возрастом она непрестанно усиливается; старики, вечно недоверчивые, предусмотрительные и жадные, предпочитают сегодня отказать себе в необходимом, лишь бы у них был избыток, когда им будет сто лет. Ко всему мы прилепляемся, за все хватаемся: всякое время, место, люди, вещи, все, что есть, все, что будет, — все касается каждого из нас: личность наша в конце концов оказывается только малейшею частью нас самих. Каждый расплывается, так ска-

зять, по целой земле и делается восприимчивым на всей этой огромной поверхности. Удивительно ли после этого, что скорби наши умножаются во всех пунктах, где только можно нас поразить? Сколько государей приходят в отчаяние от потери страны, которой они никогда не видали! Сколько купцов начинают кричать в Париже, как только коснется кто Индии.

Неужели это природа уносит нас так далеко от нас самих? Неужели это она так устраивает, что каждый узнает о своей судьбе от других, и узнает иногда последним, так что иной так и умирает, не узнав, счастлив он или нет? Я вижу бодрого, веселого, сильного, здорового человека; присутствие его внушает радость, глаза его говорят о довольстве и прекрасном состоянии духа: он несет в себе образ счастья. Приносят с почты письмо; счастливый человек смотрит, видит свой адрес, открывает, читает. В момент вид его изменяется, он бледнеет, он падает в обморок. Пришедши в себя, он плачет, волнуется, охает, рвет себе волосы, оглашает воздух криками, — подумаешь, с ним начались ужасные конвульсии. Безрассудный, какую болезнь причинила тебе эта бумага? какого члена лишила она тебя? какое преступление заставила тебя совершить? что, наконец, она изменила в тебе настолько, что ты перешел в такое состояние?

Но пусть это письмо затерялось бы, пусть добрая рука бросила бы его в огонь: судьба этого смертного, одновременно и счастливого и несчастного, представляла бы, мне кажется, странную загадку. Несчастье его, скажете вы, было бы все-таки действительным. Хорошо. Но он не чувствовал бы его. Где же оно, стало быть, было? Счастье его было воображаемым. С этим я согласен: здоровье, веселость, прекрасное расположение, довольство духа — все это не более, как призраки. Где мы находимся, там мы уже не существуем: мы существуем только там, где нас нет. Стоит ли после этого так бояться смерти, если только то, в чем состоит истинная жизнь, останется?

Ограничь, человек, свое существование пределами своего существа, и ты уже не будешь несчастным. Оставайся на том месте, которое в цепи творений назначила тебе природа; пусть ничто не заставит тебя сойти с него! Не противься суровому закону необходимости; не истощай, из желания противостоять ему, сил своих, которые Небо дало тебе не для того, чтобы расширить или продолжать свое существование, но только для того, чтобы хранить последнее, как Ему угодно и насколько Ему угодно. Твоя свобода, твоя власть простираются лишь настолько, насколько простираются твои природные силы, но не дальше; все остальное — это только рабство, иллюзия, тщеславие. Самое господство бывает рабским, когда оно основано на людском

мнении: ибо в этом случае ты зависишь от предрассудков людей, которыми управляешь с помощью предрассудков же. Чтобы руководить ими, как тебе хочется, ты должен вести себя, как им угодно. Стоит им переменить образ мыслей, и ты вынужден будешь переменить образ действия. Приближенным твоим нужно только уметь управлять мнениями народа, которым претендуешь ты управлять, мнениями фаворитов, которые тобою управляют, мнениями твоего семейства или, наконец, твоими собственными: все эти визиря, придворные, жрецы, солдаты, камергеры, болтуны-камерфрау, даже дети, если бы ты был даже Фемистоклом по гению *, готовы водить тебя среди твоих легионов, как будто ты сам дитя. Что бы ты ни делал, никогда твоя действительная власть не пойдет дальше твоих действительных способностей. Как только ты стал смотреть чужими глазами, так приходится и хотеть чужою волею. «Народы в моем подданстве», — гордо говоришь ты. Пусть так. Но ты — что ты такое? Подданный своих министров. А министры, в свою очередь, что такое? Подданные своих секретарей, своих любовниц, слуги своих слуг. Берите все, захватывайте все, и потом сыпьте золото полными руками; воздвигайте батареи, ставьте виселицы, колеса, издавайте законы, умножайте шпионов, солдат, палачей, тюрьмы, цепи, — но для чего все это вам служит, бедные люди? Ведь не будут вследствие этого лучше вам служить, не будете вы менее обворованы, менее обмануты, более независимы. Вы постоянно твердите: «мы хотим», а делаете всегда то, что захотят другие.

Только тот исполняет свою волю, кто для исполнения ее не нуждается в чужих руках вдобавок к своим; отсюда следует, что первое из всех благ не власть, а свобода. Истинно свободный человек хочет только то, что может, и делает, что ему угодно. Вот мое основное положение. Стоит только применить его к детскому возрасту, и все правила воспитания будут сами собой вытекать из него.

Общество ослабило человека не только тем, что отняло у него право на его собственные силы, но особенно тем, что сделало их недостаточными. Вот почему желания его умножаются вместе со слабостью; вот чем объясняется слабость ребенка по сравнению с возмужалым возрастом. Если взрослый человек — существо сильное, а ребенок — существо слабое, то это не потому, чтобы первый имел больше абсолютной силы, чем второй, а потому, что первый может естественным

* «Этот маленький мальчик, которого вы видите там, — говорил Фемистокл своим друзьям, — есть властитель Греции, ибо он управляет своей матерью, мать его управляет мною, я управляю афинянами, афиняне управляют греками» ?.

путем удовлетворить свои нужды, второй — не может. Итак, взрослый человек имеет больше воли, а ребенок — больше прихотей — под этим словом я разумею все желания, которые не основаны на истинных нуждах и которые можно удовлетворить только с помощью других.

Я указал причины этого состояния слабости. Природа вознаградила эту слабость привязанностью отцов и матерей; но и эта привязанность может иметь свои излишества, свои недостатки и злоупотребления. Родители, которые живут в гражданском быту, преждевременно вводят в него и своего ребенка. Надеясь его большими потребностями, чем он имеет, они не облегчают его в слабости, но еще увеличивают ее. Они увеличивают ее и тем, что предъявляют ему требования, каких не предъявляла бы природа, подчиняют своей воле тот небольшой запас сил, который он имеет для собственных целей, и обращают с той или другой стороны в рабство ту взаимную зависимость, которая порождается его слабостью и их привязанностью.

Мудрый человек умеет оставаться на своем месте; но ребенок, не знающий своего места, не сумел бы на нем и держаться. Он имеет среди нас тысячу лазеек, чтобы выйти из него: обязанность руководителей — удерживать его, а это не легкая задача. Он должен быть не зверем, не взрослым, а ребенком: нужно, чтобы он зависел, а не слепо повиновался; нужно, чтобы он просил, а не приказывал. Он подчинен другим только вследствие своих нужд и вследствие того, что они видят лучше его, что ему полезно, что может содействовать или вредить его самосохранению. Никто, даже отец, не имеет права приказывать ребенку то, что ему ни на что не нужно.

Пока еще предрассудки и учреждения человеческие не изменили наших природных склонностей, счастье детей, так же как и взрослых, состоит в пользовании своею свободой; но в первых свобода эта ограничена слабостью. Всякий, кто делает то, что хочет, счастлив, если он довольствуется самим собою, — вот положение взрослого человека, живущего в естественном состоянии. Всякий, кто делает то, что хочет, несчастлив, если нужды его превосходят запас его сил, — вот что можно сказать о ребенке в том же состоянии. Дети и в естественном состоянии пользуются только несовершенною свободой, подобною той, которою пользуются взрослые в гражданском быту. Каждый из нас, не будучи в состоянии обойтись без других, снова делается в этом отношении слабым и несчастным. Мы созданы, чтобы быть взрослыми; законы и общество снова погружают нас в детство. Богачи, вельможи, короли — все это дети, которые, видя, как хлопочут облегчить их бедственное положение, находят в этом самом пред-

мет для чисто детского тщеславия и гордятся заботами, которыми их не окружали бы, если бы они были взрослыми.

Эти соображения очень важны и служат для разрешения всех противоречий социальной системы. Есть два сорта зависимости: зависимость от вещей, лежащая в самой природе, и зависимость от людей, порождаемая обществом. Первая, не заключая в себе ничего морального, не вредит свободе и не порождает пороков; вторая, не будучи упорядоченною *, порождает все пороки; через нее-то именно и развращают друг друга и господа и раб. Если есть какое средство искоренить это зло в обществе, то оно состоит в том, чтобы заменить человека законом и вооружать общую волю действительной силой, превышающей действие всякой частной воли. Если бы законы народов, подобно законам природы, могли иметь такую незыблемость, которую никогда не могла бы одолеть никакая человеческая сила, то зависимость от людей стала бы тогда зависимостью от вещей, в государстве соединились бы все преимущества естественного состояния и гражданского, к свободе, которая предохраняет человека от пороков, присоединилась бы нравственность, возвышающая его до добродетели.

Держите ребенка в одной зависимости от вещей, и вы будете следовать порядку природы в постепенном ходе его воспитания. Противопоставляйте его неразумной воле одни только физические препятствия или такие наказания, которые вытекают из самих действий и которые он при случае припоминает; нет нужды запрещать дурной поступок, достаточно помешать совершению его. Опыт или бессилие должны одни заменять для него закон. Соглашайтесь исполнить его желания не потому, что он этого требует, а потому, что это ему нужно. Когда он действует, пусть не знает, что это — послушание; когда за него действуют другие, пусть не знает, что это — власть. Пусть он одинаково чувствует свободу как в своих действиях, так и в ваших. Вознаграждайте в нем недостаток силы ровно настолько, насколько это нужно ему, чтобы быть свободным, а не властным; пусть он, принимая ваши услуги с некоторого рода смирением, мечтает о том моменте, когда сумеет обойтись и без них и когда будет иметь честь сам служить себе.

Для укрепления тела и содействия его росту природа имеет свои средства, которым никогда не следует противодействовать. Не нужно принуждать ребенка оставаться на месте, когда ему хочется ходить, или заставлять ходить, когда ему хочется остаться на месте. Если

* В моих «Принципах Политического права» ⁸ доказано, что ни одна частная воля не может быть упорядочена в социальной системе.

свобода детей не искажена по нашей вине, они не захотят ничего бесполезного. Пусть они прыгают, бегают, кричат, когда им хочется. Все их движения вызваны потребностями их организма, который стремится окрепнуть; но нужно недоверчиво относиться к тем желаниям, которых они не могут выполнить сами, так что исполнять их придется вместо них другим. В этом случае нужно заботливо отличать потребность истинную, естественную от зарождающейся прихоти или от той потребности, которая происходит вследствие указанного мною избытка жизни.

Я уже сказал, что нужно делать, когда ребенок плачет с целью получить то или другое. Я прибавлю только, что если он уже может словами попросить то, чего желает, и если, с целью скорее получить или настоять на отказанном, он подкрепляет свою просьбу плачем, то следует отказать ему наотрез. Если его словами руководит потребность, вы должны это знать и тотчас исполнить его просьбу; но уступить в чем-нибудь его слезам — значит возбуждать новые потоки слез, значит научить его сомневаться в вашей доброжелательности и уверить, что навязчивость сильнее действует на вас, чем доброта. Если он не будет считать вас добрым, он скоро будет злым; если он будет считать вас слабым, он скоро станет упрямым; нужно всегда по первому знаку исполнять то, в чем не хотите отказать. Не будьте щедры на отказы, но и не отменяйте их никогда.

Особенно берегитесь приучать ребенка к пустым формулам вежливости, которые при случае служат ему магическим словом для подчинения себе всего окружающего и для получения в одну минуту чего угодно. Вычурное воспитание богачей непременно делает их вежливо-властными, предписывая им особые термины, которыми они должны пользоваться, чтобы никто не осмелился им противоречить; дети их не знакомы ни с просительным тоном, ни с выражениями просьбы; когда просят, они так же высокомерны, даже больше, как и тогда, когда приказывают, как будто они уверены, что этим путем гораздо легче заставить слушаться. Сразу видно, что «пожалуйста» означает в их устах: «мне так угодно», а «прошу вас» значит: «приказываю вам». Удивительная вежливость, если она в конце концов ведет к изменению значения слов и к тому, что не в состоянии говорить иначе, как властно! Что касается меня, то я не так боюсь грубости Эмиля, как высокомерия, и лучше хочу, чтобы он тоном просьбы говорил: «сделайте это», чем тоном приказания — «прошу вас». Для меня важно не выражение, употребляемое им, а смысл, который он влагает в него.

Бывает излишек суровости, и бывает излишек мягкости: того и другого нужно одинаково избегать. Если вы не обращаете внимания

на страдания детей, вы подвергаете опасности их здоровье и жизнь, делаете их несчастными в настоящем; если же вы с излишней заботливостью охраняете их от малейшего страдания, то вы готовите им большие бедствия, делаете их изнеженными, чувствительными; вы их выводите из положения людей, к которому они со временем возвратятся помимо вашей воли. Чтобы не подвергать их некоторым естественным страданиям, вы делаетесь виновником таких страданий, которыми природа их не наделяла. Вы скажете, что я впадаю в ту же ошибку, как те дурные отцы, которых я упрекал в том, что они счастье детей приносят в жертву отдаленному будущему, которое может никогда и не наступить.

Вовсе нет: свобода, предоставляемая мною воспитаннику, обильно вознаграждает его за те незначительные неудобства, которым я его подвергаю. Вот маленькие шалуны, играющие на снегу: они посинели, окоченели, едва в состоянии шевелить пальцами. От них зависит пойти и обогреться, но они не делают этого; если их принудить к этому, то жестокость принуждения они почувствуют во сто раз сильнее жестокости холода. На что вы жалуетесь? Разве я сделаю вашего ребенка несчастным, подвергая его лишь тем неудобствам, которые он желает сам выносить? Я делаю ему добро в настоящий момент, оставляя его свободным: я делаю ему добро и для будущего, давая ему оружие против зол, которые ему придется переносить. Если б ему предоставили выбор — быть моим воспитанником или вашим, неужели, вы думаете, он задумался бы хоть на минуту?

Неужели вы представляете возможным какое-нибудь истинное счастье для того или иного существа вне его органического бытия, — а стараться избавить человека от всех одинаковых зол, свойственных его роду, не значит ли это выводить его из пределов органического его бытия? Да, это так. Чтобы чувствовать великие блага, ему нужно узнать малые невзгоды — такова его природа. Если физическая сторона развивается слишком успешно, нравственная портится. Человек, незнакомый с болью, не был бы знаком ни с трогательностью человеколюбия, ни со сладостью сострадания; сердце его ни на что не отзывалось бы, он не жил бы общею жизнью, был бы чудовищем между людьми.

Знаете ли, какой самый верный способ сделать вашего ребенка несчастным? Это — приучить его не встречать ни в чем отказа; так как желания его постоянно будут возрастать вследствие легкости удовлетворения их, то рано или поздно невозможность вынудит вас, помимо вашей воли, прибегнуть к отказу, и эти непривычные отказы принесут ему больше мучений, чем самое лишение того, чего он же-

лает. Сначала он захочет получить палку, которую вы держите, скоро он запросит ваши часы, затем запросит птицу, которая летит перед ним, запросит звезду, которую видит на небе, запросит все, что только увидит; если вы не Бог, как вы его удовлетворите?

Человек от природы расположен считать своим все, что находится в его власти. В этом смысле верен до известной степени принцип Гоббса: увеличивайте вместе с желаниями и средства их удовлетворить, и тогда каждый сделается владыкой всего. И действительно, ребенок, которому стоит только пожелать, чтобы получить, станет считать себя властелином вселенной; на всех людей он станет смотреть, как на рабов своих, и, когда, наконец, принуждены будут ему отказать в чем-нибудь, он, думая, что все возможно, если он приказывает, примет этот приказ за бунт. Все резоны, представляемые ему в такие годы, когда он не способен еще рассуждать, кажутся ему пустыми отговорками; он видит всюду недоброжелательство; так как чувство мнимой несправедливости ожесточает его характер, то он начинает всех ненавидеть и, не умея быть никогда благодарным за снисходительность, негодует на всякое противодействие.

Как представить, чтобы ребенок, обуреваемый таким образом гневом и пожираемый самыми раздражающими страстями, мог быть когда-нибудь счастлив? Какое уж тут счастье! Это — деспот, это в то же время самый низкий из рабов, самая жалкая из тварей. Я видел детей, воспитанных таким образом; они желали, чтобы им плечом своротили с места дом, чтобы дали петуха, которого они видели на шпиге колокольни, чтобы остановили шествие полка и дали им подольше послушать барабанный бой, и, если не спешили им повиноваться, они оглашали криками воздух, не желая никого слушать. Все тщетно хлопотали угодить им; так как вследствие легкости исполнения желания их усиливались, то они упорно настаивали на вещах невозможных и всюду находили себе только противоречия и препятствия, муку и скорбь. Вечно бранясь, вечно своевольничая, вечно злясь, они целые дни проводили в криках и жалобах. Могли ли они быть существами вполне счастливыми? Соединение слабости и господства порождает лишь безумие и бедствия. Из двух избалованных детей один бьет стол, другой заставляет бичевать море: им придется много бичевать и бить, прежде чем они будут жить довольными.

Если это сознание власти делает их несчастными с самого детства, что же будет, когда они вырастут, когда их сношения с другими людьми начнут расширяться и умножаться? Привыкнув видеть, что все перед ними склоняется, как они будут изумлены, когда, при вступлении в свет, почувствуют, что все им противится, и когда они ока-

жуются подавленными тяжестью этой вселенной, которую думали двигать по своей воле!

Их заносчивый вид, их мелкое тщеславие навлекают на них одни оскорбления, презрение и насмешки; обиды сыпятся на них градом; жестокие испытания скоро научают их, что они незнакомы ни со своим положением, ни со своими силами; не будучи в состоянии сделать все, они, наконец, приходят к мысли, что не могут сделать ничего. Все эти непривычные препятствия отнимают у них энергию, все это презрение заставляет их потерять себе цену: они становятся вялыми, робкими, заискивающими и падают настолько ниже самих себя, насколько выше хотели подняться.

Возвратимся к основному положению. Природа создала детей, чтобы мы их любили и приходили к ним на помощь; но создала ли она их для того, чтобы мы им повиновались и боялись их? Дала ли им внушительный вид, суровый взгляд, грубый и грозный голос, чтобы внушить к ним страх? Я понимаю, что рев льва поражает ужасом животных, что они трепещут при виде его страшной пасти; но что может быть нелепее, гнуснее и смешнее зрелища, как целый штат должностных лиц, в парадных одеждах, с главным начальником впереди, повергается перед ребенком, который еще в пеленках, и ведет к нему пышную речь, а тот кричит и пускает слюни в ответ? ⁹

Если рассматривать детство само по себе, едва ли мы найдем в мире существо более слабое и жалкое, чем ребенок, более зависящее от всего окружающего и столь сильно нуждающееся в жалости, заботах и покровительстве. Кажется, что он своим нежным личиком, своим трогательным видом так и просит, чтобы каждый, кто к нему подходит, проникся жалостью к его слабости и позаботился ему помочь. Что после этого может быть противнее и непристойнее того, как властный и упрямый ребенок командует всем окружающим и, не стесняясь, принимает тон господина по отношению к людям, которым стоит только его покинуть, чтобы он погиб?

С другой стороны, кто не видит, что слабость первого возраста так сковывает детей, что было бы жестоко к этому подчинению присоединять еще подчинение нашим капризам, отнимая у них без того ограниченную свободу, которой они так мало могут злоупотреблять и лишение которой столь бесполезно и для них, и для нас? Если нет зрелища, более достойного смеха, как высокомерный ребенок, то и нет зрелища, более достойного жалости, чем боязливое дитя. С наступлением разумного возраста наступает гражданское подчинение; зачем же нам после этого предупреждать его домашним подчинением? Допустим, чтобы хоть один момент жизни был свободен от ига, которого не налагала на нас природа; предоставим ребенку пользоваться ес-

тественной свободой, которая хоть на время удаляет его от пороков, порождаемых рабством. Пусть эти строгие наставники, эти отцы, раболепствующие перед своими детьми, являются каждый со своими легкомысленными возражениями, но прежде чем тщеславиться своими методами, пусть они научатся хоть раз методу природы.

Возвратимся к практической стороне. Я сказал уже, что ребенок ваш должен получать не в силу того, что он требует, но в силу того, что нуждается *, должен делать не в силу послушания, но исключительно в силу необходимости; таким образом слова: «повиноваться» и «приказывать» будут вычеркнуты из их словаря, а тем более слова «долг» и «обязанность»; зато слова «сила», «необходимость», «невозможность», «неизбежность» должны занимать в нем видное место. До разумного возраста не может явиться никакой идеи ни о нравственности, ни о социальных отношениях; поэтому следует, по возможности, избегать слов, указывающих на эти понятия, из опасения, чтобы ребенок не придал им на первых порах ложного смысла, который потом мы не сумеем или не сможем изменить. Первая ложная идея, попавшая в его голову, бывает в нем зачатком заблуждения и порока; за этим именно первым шагом и нужно особенно следить. Устройте так, чтобы, пока на него действуют только чувственно-восприимчивые предметы, все идеи его устанавливались на ощущениях; устройте, чтобы он со всех сторон видел вокруг себя только мир физический; без этого, будьте уверены, он совсем не станет вас слушать или составит о нравственном мире, о котором вы ему говорите, такие фантастические понятия, что вы их не искорените всю жизнь.

Рассуждать с детьми было основным правилом Локка ¹⁰; оно в большой моде и теперь; однако успех его, мне кажется, вовсе не доказывает, что его и действительно нужно пускать в ход; что касается меня, то я не видал ничего глупее детей, с которыми много рассуждали. Из всех способностей человека разум, представляющий собою, так сказать, объединение всех других, развивается труднее всего и позже всего, а им-то и хотят воспользоваться для развития первых способностей! Верх искусства при хорошем воспитании — сделать

* Нужно заметить, что как страдание часто составляет необходимость, так и удовольствие иной раз является потребностью. Значит, существует только одно желание у детей, которому никогда не следует угодить: это желание заставлять других повиноваться себе. Отсюда следует, что при всяком их требовании нужно обращать особенное внимание на мотив этого требования. Соглашайтесь, по мере возможности, на все, что может доставить им действительное удовольствие, но непременно отказывайтесь в том, чего они требуют вследствие прихоти или только для того, чтобы проявить свою власть.

человека разумным, а тут претендуют воспитывать ребенка с помощью разума! Это значит начинать с конца, из работы делать инструмент, нужный для этой работы. Если бы дети слушались голоса разума, они не нуждались бы в воспитании. Говоря с ними с самого малого возраста непонятным для них языком, мы приучаем их отделяться пустыми словами, проверять все, что им говорят, считать себя такими же умными, как и наставники, быть спорщиками и упрямцами; а чего думаем достигнуть от них разумными доводами, все это получается исключительно в силу алчности, страха, тщеславия, к которым мы вынуждены всегда прибегать вдобавок к доводам разума.

Вот формула, к которой можно свести почти все уроки нравственности, какие дают и какие можно давать детям:

Н а с т а в н и к. Этого не должно делать.

Р е б е н о к. А почему же не должно делать?

Н а с т а в н и к. Потому что это дурной поступок.

Р е б е н о к. Дурной поступок! А что такое дурной поступок?

Н а с т а в н и к. Дурно поступать — значит делать то, что тебе запрещают.

Р е б е н о к. Что же будет дурного, если я сделаю, что запрещают?

Н а с т а в н и к. Тебя накажут за непослушание.

Р е б е н о к. А я так сделаю, что об этом ничего и не узнают.

Н а с т а в н и к. За тобой станут следить.

Р е б е н о к. А я спрячусь.

Н а с т а в н и к. Тебя будут расспрашивать.

Р е б е н о к. А я солгу.

Н а с т а в н и к. Лгать не должно.

Р е б е н о к. Почему же не должно лгать?

Н а с т а в н и к. Потому что это дурной поступок, и т. д.

Вот неизбежный круг. Выйдите из него, и ребенок перестанет вас понимать. Не правда ли, как полезны эти наставления? Мне очень интересно было бы знать, какими рассуждениями можно заменить этот диалог. Сам Локк был бы, наверное, в большом затруднении. Распознавать благо и зло, иметь сознание долга человеческого — это не дело ребенка.

Природа хочет, чтобы дети были детьми, прежде чем быть взрослыми. Если мы хотим нарушить этот порядок, мы произведем скоро-спелые плоды, которые не будут иметь ни зрелости, ни вкуса и не замедлят испортиться: у нас получатся юные ученые и старые дети. У детей своя собственная манера видеть, думать и чувствовать, и нет ничего безрассуднее, как желать заменить ее нашей; требовать от ребенка в десять лет рассуждения все равно, что требовать от него

пяти футов роста. И действительно, к чему послужил бы ему разум в этом возрасте? Он служит уздою силы, а ребенок не нуждается в этой узде.

Стараясь убедить наших воспитанников, что повиновение есть долг, вы присоедините к этому мнимому убеждению насилие и угрозы или, что еще хуже, лесть и обещания. Таким образом, прельщенные выгодой или принужденные силой, они делают вид, что убеждены разумом. Они очень хорошо видят, что повиновение выгодно им, а сопротивление вредно, лишь только вы замечаете то или другое. Но так как вы требуете от них все таких вещей, которые им неприятны, и так как всегда тяжело исполнять чужую волю, то они тайком делают по-своему, в убеждении, что поступают хорошо, если никто не знает о их ослушании, но с готовностью сознаться, что поступили дурно, когда их уличат, — из опасения еще большего зла. Так как в их возрасте немыслимо сознание долга, то нет в мире человека, которому удалось бы действительно внушить им это сознание; страх наказания, надежда на прощение, приставание, неумение найтись при ответе вытягивают из них все требуемые признания, а мы думаем, что убедили их, тогда как мы только надоели им или запугали их.

Что же выходит из всего этого? Во-первых, налагая на них обязанность, которой они не чувствуют, вы вооружаете их против вашей тирании и отвращаете от любви к вам; далее, вы научаете их быть скрытными, двоедушными, лживыми — из желания вырвать награду или укрыться от наказания; наконец, приучая их покрывать всегда тайный мотив каким-нибудь видимым мотивом, вы сами даете им средство беспрестанно обманывать вас, скрывать от вас свой истинный характер и при случае отделяться от вас и от других пустыми словами. Вы скажете: но законы ведь тоже употребляют принуждение по отношению к взрослым, хотя они и обязательны для совести. Согласен; но что такое эти взрослые, как не те же дети, испорченные воспитанием? Вот это-то именно и нужно помнить. Употребляйте с детьми силу, а со взрослыми разум — таков естественный порядок; мудрец не нуждается в законах.

Обращайтесь с вашим воспитанником сообразно с его возрастом. Поставьте прежде всего его на должное место и умейте удержать на нем так искусно, чтоб он не пытался покинуть его. Тогда, не зная еще, что такое мудрость, он на практике получит самый важный урок ее. Никогда не приказывайте ему — ничего на свете, решительно ничего! Не допускайте у него даже представления, что вы претендуете на какую-нибудь власть над ним. Пусть он знает только, что он слаб и что вы сильны, что, по взаимному вашему положению, он

необходимо зависит от вас. Пусть он это знает, пусть научится этому, пусть чувствует это; пусть с ранних пор чувствует над своей гордо поднятой головой жестокое иго, налагаемое на человека природой, тяжелое иго необходимости, под которым должно склониться всякое ограниченное существо. Пусть он видит эту необходимость в вещах, а не в капризе людей *; пусть уздою, его удерживающею, будет сила, а не власть. Не запрещайте ему того, от чего он должен воздерживаться, поставьте ему только препятствие, без объяснений, без рассуждений; что ему позволяете, позволяйте с первого слова, без упрощивания, без просьб и особенно без условий. Дозволяйте с удовольствием, отказывайте лишь с сожалением; но все отказы ваши пусть будут бесповоротны, пусть не колеблет вас никакая настойчивость; пусть сказанное вами «нет» будет несокрушимой стеной, так, чтобы, испытав раз 5—6 перед ней свои силы, ребенок не пытался уже опрокинуть ее.

Таким именно способом вы сделаете его терпеливым, ровным, безропотным, смирным — даже тогда, когда он не получит желаемого, ибо это лежит в природе человека — терпеливо переносить неизбежность вещей, но не сумасбродную волю другого. Слова: «нет больше» — вот ответ, против которого никогда не восставал ребенок, если только не считал его ложью. Впрочем, тут нет середины: нужно или ничего вовсе не требовать, или с самого начала приучить его к полнейшему подчинению. Худший способ воспитания — это заставлять его колебаться между его волей и вашей и постоянно оспаривать, кто из двух, вы или он, будет господином: я в сто раз предпочел бы, чтобы он оставался им всегда.

Странно, что с тех пор, как берутся воспитывать детей, не придумали еще другого способа руководить ими, кроме соревнования, зависти, ненависти, тщеславия, жадности, низкого страха, всех страстей, наиболее опасных, наиболее способных волновать и портить душу, даже прежде чем сформируется тело. При всяком преждевременном наставлении, которое вбивают им в голову, в глубине их сердца насаждают порок; безрассудные воспитатели думают сделать чудо, делая их злыми с целью научить, что такое доброта, а потом важно говорят нам: таков уж человек. Да, таков человек, которого вы сделали.

Испробованы все орудия, кроме одного-единственного, которое

* Ребенок, наверное, будет принимать за каприз всякое желание, которое противно его собственному и оснований которого он не будет знать. А ребенок не находит оснований во всем том, что идет вразрез с его прихотями.

может вести к успеху, — кроме хорошо направленной свободы. Не нужно и браться за воспитание ребенка, когда не умеешь вести его, куда хочешь, с помощью одних законов возможного и невозможного. Так как сфера того и другого одинаково неизвестна, то ее можно, по желанию, расширять или суживать вокруг него. С помощью одной узды — необходимости — его можно связывать, двигать вперед, задерживать, не возбуждая в нем ропота; с помощью одной силы вещей можно делать его гибким и послушным, не давая возможности одному пороку зародиться в нем, ибо страсти не возбуждаются, пока они не способны произвести никакого действия.

Не давайте вашему ученику никаких словесных уроков; он должен получать их лишь из опыта; не налагайте на него никаких наказаний, ибо он не знает, что такое быть виноватым; никогда не заставляйте его просить прощения, ибо он не сумел бы вас оскорбить. Лишенный всякого нравственного мотива в своих поступках, он не может сделать ничего такого, что было бы нравственно злым и заслуживало бы наказания или выговора.

Я вижу уже, что испуганный читатель судит об этом ребенке по вашим детям, но он ошибается. Постоянное стеснение, в котором вы держите своих воспитанников, раздражает их живость; чем больше они стеснены на ваших глазах, тем буйнее они с того момента, как вырвутся: нужно же им вознаградить себя, когда они могут, за то суровое стеснение, в котором вы их держите. Два городских школьника наделают в ином месте больше опустошений, чем вся детвора целой деревни. Заприте барчонка и крестьянского мальчика в комнате; первый все опрокинет, все переломает, прежде чем второй шевельнется с места. Отчего это, если не оттого, что один спешит до конца воспользоваться минутой свободы, меж тем как другой, всегда уверенный в своей свободе, никогда не торопится ею воспользоваться? А меж тем дети поселян, которым все-таки часто потворствуют или прекословят, еще очень далеки от того состояния, в котором я желал бы их видеть.

Примем за неоспоримое правило, что первые природные движения всегда правдивы: в сердце человеческом нет исконной испорченности; в нем не находится ни одного порока, о котором нельзя было бы сказать, как и откуда он туда проник. Единственная страсть, прирожденная человеку, — это любовь к самому себе, или самолюбие, в обширном смысле слова. Это самолюбие само по себе, т. е. по отношению к нам самим, хорошо и полезно; а так как оно не предполагает того или иного необходимого отношения к другим, то и с этой стороны оно безразлично; дурным или хорошим оно делается лишь вследствие применения, которое дают ему, и отношений, в ко-

торые ставят его. Пока не явится руководитель самолюбия — разум, необходимо, значит, чтобы ребенок ничего не делал потому только, что его видят или слышат, словом, ничего не делал из-за других, но делал лишь то, чего требует для него природа, и тогда он ничего не сделает нехорошего.

Я не говорю, что он никогда не наделает беспорядка, не поранит себя, не сломает, может быть, дорогой мебели, если она случится у него под руками. Он может наделать много дурного, не сделав ничего злого, потому что злой поступок обуславливается намерением повредить, а он никогда не будет иметь этого намерения. Если бы он хоть раз возымел его, все было бы уже потеряно: он был бы злым почти безвозвратно.

Иной поступок, дурной в глазах скупости, вовсе не дурен с точки зрения разума. Предоставляя детям полную свободу резвиться, следует удалять от них все, что могло бы сделать эту резвость слишком убыточной, и не оставлять у них под руками ничего ломкого и ценного. Пусть комната их будет убрана простою и прочною мебелью; долой зеркала, долой фарфор и предметы роскоши. Что касается моего Эмиля, которого я воспитываю в деревне, то комната его ничем не будет отличаться от комнаты крестьянина. К чему убирать ее с такою заботливостью, если ему так мало придется в ней оставаться? Впрочем, я ошибаюсь: он сам будет убирать ее, и мы скоро увидим, чем именно.

Если, несмотря на ваши предосторожности, ребенок произведет какой-нибудь беспорядок, разобьет полезную вещь, не наказывайте его за вашу небрежность, не браните его, пусть не услышит он ни одного слова упрека; не давайте ему даже заметить, что он причинил вам огорчение; поступайте так, как будто вещь разбилась сама собою, и в конце концов будьте уверены, что вы многое сделали, если сумели не сказать ни слова.

Осмелюсь ли я высказать здесь самое великое, самое важное и самое полезное во всем воспитании правило? Не выигрывать нужно время, нужно тратить его. Дюжинные читатели, извините мне мои парадоксы: они необходимо являются, когда размышляешь; а что вы там ни говорите, я предпочитаю быть человеком с парадоксами, чем человеком с предрассудками. Самый опасный промежуток человеческой жизни — это от рождения до двенадцатилетнего возраста. Это — время, когда зарождаются заблуждения и пороки, а нет еще никакого орудия для их уничтожения; когда же является орудие, корни бывают уже столь глубоки, что поздно их вырывать. Если бы дети одним прыжком перескакивали от грудного к разумному возрасту, воспитание, которое дают, годилось бы для них; но, если со-

образоваться с естественным ходом вещей, им нужно совершенно противоположное воспитание. Нужно, чтобы они сохраняли неприкосновенной свою душу до тех пор, пока она не будет иметь всех своих способностей: ибо невозможно, чтобы она, оставаясь слепою, видела светоч, который вы несете перед ней, и чтобы на необозримой равнине идей она следовала тому пути, который так слабо намечается разумом даже для самых лучших глаз.

Таким образом, первоначальное воспитание должно быть чисто отрицательным. Оно состоит не в том, чтобы учить добродетели и истине, а в том, чтобы предохранить сердце от порока, а ум — от заблуждения. Если бы вы могли сами ничего не делать и не допускать других до этого, если бы вы могли довести нашего воспитанника здоровым и сильным до двенадцатилетнего возраста, но так, чтобы он не умел отличить правой руки от левой, то с первых же ваших уроков его взор раскрылся бы для разума; будучи без предрассудков и без привычек, он ничего бы не имел в себе такого, что могло бы противодействовать вашим заботам. Он скоро стал бы в ваших руках мудрейшим из людей, и вы, начав с того, что ничего не делали, произвели бы чудо в деле воспитания.

Поступайте противно обычаю, и вы почти всегда будете поступать хорошо. Так как из ребенка хотят создать не ребенка, а ученого, то отцы и наставники только и делают, что журят, исправляют, дают выговоры, ласкают, угрожают, обещают, наставляют, приводят резоны. Поступайте лучше этого: будьте рассудительны и не рассуждайте с вашим воспитанником, особенно с целью заставить его согласиться на то, что ему не нравится, ибо вечно приводить таким образом доводы разума в вещах неприятных для ребенка — это значит наскучить ему этим разумом и заранее уничтожить к нему доверие в душе, еще не способной понимать его. Упражняйте тело ребенка, его органы, чувства, силы, но оставляйте его душу в бездействии, пока можно. Бойтесь всех чувствований, возникающих раньше суждения, умеющего их оценить. Задерживайте, останавливайте чуждые впечатления и не спешите делать добро, чтобы помешать возникнуть злу, ибо добро только тогда бывает таковым, когда его освещает разум. Смотрите на всякую остановку, как на выигрыш: подвигаться к цели, ничего не теряя, это значит много выигрывать. Дайте детству созреть в детях. Наконец, если какой-нибудь урок становится для них необходимым, берегитесь давать его сегодня, если можете безопасно отложить до завтра.

Другое соображение, подтверждающее полезность этого метода, касается особых дарований каждого ребенка: нужно с ними хорошо ознакомиться, чтобы знать, какой нравственный режим пригоден

для них. Каждый ум имеет свой собственный склад, сообразно с которым и следует управлять им; для успешности принимаемых забот важно, чтобы им управляли таким-то путем, а не иным. Благоразумный наставник! изучай дольше природу, хорошо наблюдай за своим воспитанником, прежде чем сказать ему первое слово; дай прежде всего на полной свободе обнаружиться зачаткам его характера; не принуждай его в чем бы то ни было, чтобы лучше видеть его во всей целостности. Неужели вы думаете, что это время свободы потеряно для него? Совершенно напротив: оно окажется лучше всего употребленным, ибо таким образом вы научитесь не терять ни одной минуты из времени более ценного, тогда как если вы начнете действовать, не узнавши, что нужно делать, то вы будете действовать наугад; вы можете обмануться, и вам придется возвращаться назад: вы дальше будете от цели, чем в том случае, если меньше торопились бы достигнуть ее. Не поступайте поэтому, как скупой, который, из желания ничего не потерять, теряет много. Жертвуйте в первом возрасте временем, которое вы с избытком воротите в более позднем возрасте. Мудрый врач не дает опрометчиво рецептов с первого же взгляда, но предварительно изучает темперамент больного, прежде чем предписать что-либо; он начинает лечить поздно, но зато вылечивает, меж тем как врач, слишком поспешивший, убивает больного.

Но куда же нам поместить этого ребенка? где его воспитать таким образом? Как будто он существо нечувствительное, как будто он автомат! Держать ли его на луне или на необитаемом острове? Удалить ли его от всех людей? Разве он не будет непрерывно в мире видеть зрелище и пример чужих страстей? разве он никогда не увидит других детей своего возраста? разве он не будет видеть своих родителей, соседей, кормилицу, гувернантку, слугу, самого воспитателя, который не ангелом же будет, наконец?

Возражение это сильно и важно. Но разве я говорил вам, что естественное воспитание — дело легкое? О, люди! Моя ли вина, если вы сделали трудным все, что хорошо? Я чувствую эти трудности, я не отрицаю их: может быть, они непреодолимы; но во всяком случае верно то, что при старании преодолеть их до известной степени преодолевают. Я показываю цель, которою следует задаться: я не говорю, что можно достичь ее; но я говорю, что, кто ближе подойдет к ней, тот будет иметь больше всего успеха.

Помните, что прежде, чем вы осмелитесь взяться за формирование человека, вам самим нужно сделаться людьми; нужно, чтобы в вас самих был образец, которому от должен следовать. Пока еще ребенок несознательно относится к окружающему, есть время все подготовить так, чтобы первые взоры он бросал только на такие пред-

меты, которые следует ему видеть. Внушите всем уважение к себе, заставьте прежде всего себя полюбить, чтобы каждый искал случая вам угодить. Вы не будете управлять ребенком, если вы не господин всего, что окружает его; а этот авторитет никогда не будет достаточным, если он не основан на уважении к добродетели. Тут дело не в том, чтобы опустошать свой кошелек и сыпать деньги полными руками: я никогда не видел, чтобы деньги кого-нибудь заставили любить. Не нужно быть скупым и жестоким; мало — жалеть нищету, которую можно облегчить; но хотя бы вы открыли все сундуки, если вы не открываете при этом и своего сердца, для вас навсегда останутся закрытыми сердца других. Свое собственное время, свои заботы, свои привязанности, самих себя — вот что вы должны отдавать другим; ибо, что бы вы ни делали, люди всегда чувствуют, что ваши деньги — это не вы. Иные знаки сочувствия и доброжелательства оказывают более действия и на деле полезнее, чем все дары: сколько несчастных, больных нуждаются скорее в утешении, чем в милостыне! Скольким угнетенным покровительство полезнее, чем деньги! Мирите людей, которые ссорятся, предупреждайте тяжбы; склоняйте детей к долгу, отцов к снисходительности; содействуйте удачным бракам; ставьте преграду притеснениям; хлопочите, широко пользуйтесь влиянием родителей вашего воспитанника в защиту слабого, которому отказывают в правосудии и которого давит сильный. Смело объявляйте себя покровителем несчастных! Будьте справедливы, человечны, благотворительны. Творите не одну милостыню, творите дела любви: дела милосердия облегчают больше бедствий, чем деньги. Любите других, и они вас будут любить; помогайте им, и они вам станут помогать; будьте братьями их, и они будут вашими детьми.

Вот еще одна из причин, почему я хочу воспитывать Эмиля в деревне, вдали от этой шайки лакеев, самых презренных из людей после своих господ, вдали от грязных городских нравов, которые вследствие лоска, их покрывающего, делаются обольстительными и заразительными для детей, тогда как пороки крестьян, являясь без прикрас и во всей своей грубости, скорее способны оттолкнуть, чем обольстить, если нет никакого интереса подражать им.

В деревне воспитатель гораздо скорее будет обладать предметами, которые захочет показать ребенку; его репутация, его беседы, его пример будут иметь такое влияние, какого они не могли бы иметь в городе; так как он всем полезен, то каждый будет стараться оказать ему услугу, заслужить его уважение, высказать себя перед учеником таким, каким учитель желал бы в действительности видеть всех; и если люди не исправятся при этом от порока, то они удержатся от неприличных поступков, а нам только это нужно для нашей цели.

Перестаньте обвинять других в своих собственных ошибках: зло, которое видят дети, меньше портит их, чем то, которому вы их научаете. Вечные проповедники, вечные моралисты и педанты, вы за одну идею, которую даете, считая ее хорошею, наделяете их сразу двадцатью другими, никуда не годными; поглощенные тем, что происходит в вашей голове, вы не видите действия, производимого вами на их головы. Неужели вы думаете, что в длинном потоке слов, непрестанно вами извергаемом, нет ни одного ложно понятого ими? Неужели вы думаете, что они не комментируют на свой лад ваших многоречивых объяснений и не найдут в них материала для составления своей системы, доступной их пониманию, которую сумеют при случае выставить против вас?

Послушайте мальчугана, которому только что читали наставления; предоставьте ему свободно болтать, расспрашивать, говорить, что вздумается, и вы с удивлением увидите, какой странный оборот приняли в его уме ваши рассуждения: он все смешивает, все ставит вверх дном, выводит вас из терпения, бросает подчас в отчаяние своими непредвиденными возражениями, доводит вас до того, что вы молчите и заставляете его замолчать; а что он может подумать о молчании человека, который так любит говорить? Если он когда-нибудь возьмет верх, если он заметит это, прощай, воспитание! Все кончено с этой минуты, он уже старается не научиться, он старается опровергать вас.

Ревностные наставники, будьте просты, скромны, сдержанны! Никогда не спешите действовать только с тем, чтобы помешать другим действовать. Я не устану повторять: откладывайте, если можно, хорошее наставление из опасения дать дурное. Берегитесь на этой земле, природа которой могла бы создать первый рай человека, играть роль искуителя из желания научить невинность познанию добра и зла: раз вы не в состоянии помешать ребенку поучаться извне, примерами, ограничьте всю вашу бдительность тем, чтобы запечатлеть в его уме эти примеры в том виде, который ему пригоден.

Пылкие страсти производят сильное действие на ребенка, который бывает свидетелем их, потому что они имеют очень чувствительное, поражающее его выражение и вынуждают его остановить на них внимание. Особенно резкими бывают вспышки гнева, так что их невозможно не заметить, если они на виду. Нечего и говорить, что тут представляется для педагога отличный случай начать прекрасную речь. Ну их! Прочь прекрасные речи! Не надо ничего, ни одного слова! Подзовите просто ребенка: удивленный зрелищем, он не замедлит обратиться к вам с расспросами. Ответ прост: он вытекает из самих предметов, поражающих его чувства. Он видит воспламе-

ненное лицо, сверкающие глаза, угрожающие жесты, слышит крики — все это признаки, что тело не в обычном состоянии. Скажите ему спокойно, без нажима, без таинственности: «Этот бедный человек болен, у него припадок лихорадки». Вы можете воспользоваться здесь случаем и дать ребенку, но лишь в немногих словах, понятие о болезнях и их действии, ибо это также лежит в природе и составляет одну из цепей необходимости, которыми он должен чувствовать себя связанным.

Может ли быть, чтобы в силу этой идеи, далеко не ложной, он с ранних пор не получил некоторого отвращения к проявлению чрезмерных страстей, которые он будет считать болезнью? И думаете ли вы, что подобного рода понятие, внушенное кстати, не произведет такого спасительного действия, как скучнейшая проповедь морали? Но зато посмотрите, к каким последствиям ведет это понятие в будущем: вы уже имеете право в случае нужды обращаться с упрямым ребенком, как с больным, запереть его в комнате, уложить, если нужно, в постель, держать на диете, грозить ему зарождающимися в нем пороками, представлять их ненавистными и страшными, меж тем как он никогда не будет считать наказанием ту строгость, которую вы, может быть, принуждены будете употребить для его излечения. А если вам самим, в минуту вспыльчивости, случится потерять хладнокровие и сдержанность, с которою вы должны вести ваши занятия, не старайтесь скрыть от него своей ошибки, но скажите ему откровенно, с нежным упреком: «Друг мой, вы причинили мне боль».

Необходимо, однако, чтобы ни одна наивность, которую может сказать ребенок в силу простоты внушенных ему идей, никогда не подхватывалась в его присутствии и не повторялась так, чтобы он мог ее заметить. Один нескромный взрыв хохота может испортить дело шести месяцев и причинить вред, непоправимый на всю жизнь. Я не перестану повторять: чтобы управлять ребенком, необходимо управлять самим собою. Я представляю себе такую сцену: в самый разгар ссоры между двумя соседками малютка Эмиль подходит к наиболее бешеной из них и говорит тоном соболезнования: «Бедняжка, вы больны, — как мне жаль вас!» Наверное, это остроумное слово произведет действие на зрителей, а может быть, и на действующих лиц. Без смеха, без упрека и без похвалы, я волею или неволею увожу его, прежде чем он заметит это действие или по крайней мере подумает об этом, и спешу развлечь его другими предметами, которые заставили бы его скоро забыть об этой сцене.

Цель моя — не во все подробности входить, а только изложить общие правила и дать примеры для затруднительных случаев. Я считаю невозможным довести в среде общества ребенка до двенадцати-

летнего возраста и не дать ему никакого понятия об отношениях человека к человеку и о нравственной стороне людских поступков. Достаточно стараться, чтобы эти понятия сделались для него необходимыми как можно позже, а когда они станут неизбежными, ограничивать их применение пользою данной минуты, лишь для того, чтобы ребенок не считал себя господином всего и не делал зла другому без угрызений совести и бессознательно. Есть характеры мягкие и спокойные, которые без всякой опасности можно далеко вести в их первобытной невинности: но есть и натуры буйные, в которых рано развивается жестокость и которые нужно скорее сделать людьми, чтобы не быть принужденным посадить их на цепь.

Наши первые обязанности касаются нас самих; наши первоначальные чувствования сосредоточиваются на нас же самих; все наши естественные движения относятся прежде всего к нашему самосохранению и благоденствию. Таким образом, первое чувство справедливости порождается в нас не тою справедливостью, которую мы обязаны делать, но тою, которую обязаны другие по отношению к нам, и вот еще одна из нелепиц при обычных способах воспитания: детям прежде всего толкуют об их обязанностях, но никогда не говорят об их правах, т. е. начинают как раз с противоположного, с того, чего они не могут понять и что не может их интересовать.

Если бы мне предстояло направлять таких детей, о которых я только что говорил, я сказал бы себе: «Ребенок не трогает лиц *, не бросается на вещи». Опыт скоро научит уважать всякого, кто выше его летами или силой, но вещи не могут сами защищаться. Значит, первую нужно внушать ему идею собственности, чем идею свободы, а чтобы он мог иметь эту идею, он должен иметь какую-нибудь собственность. Называть ему собственностью его одежду, мебель, игрушки, значит ничего ему не сказать, потому что хотя он располагает этими вещами, но он не знает, почему и как они ему достались. Сказать ему, что он их имеет потому, что ему дали, значит поступить не лучше; ибо, чтобы дать, нужно иметь; следовательно, это только собственность, возникшая раньше его собственности, а ему хотят разъяснить

* Никогда не следует допускать, чтобы ребенок играл со взрослыми, как с низшими или даже как равными себе. Если он осмелился не шутя ударить кого-нибудь, хотя бы слугу своего, хотя бы палача, сделай так, чтобы он с лихвой получил назад свои удары, чтобы отбить у него охоту повторять это. Я видел, как неблагоразумные гувернантки поощряли упрямство ребенка, подстрекали его драться, давали бить себя и смеялись над его слабыми ударами, не думая, что удары эти были покушением убить со стороны маленького буйна и что, кто в детстве хочет бить, тот взрослым захочет убить.

самый принцип собственности, не говоря уже о том, что дар есть договор, ребенок же не может еще знать, что такое договор *. Заметьте, прошу вас, читатели, на этом примере и на сотне тысяч других, как мы, набивая голову детей словами, не имеющими для них никакого смысла, все-таки полагаем, что дали им очень хорошее наставление.

Итак, надлежит восходить к началу собственности, ибо оттуда именно должна зародиться первая идея о ней. Живя в деревне, ребенок получит некоторое понятие о полевых работах; для этого нужны только глаза и досуг, а у него будет то и другое. Всякому возрасту, а особенно его возрасту, свойственно желание создавать, подражать, производить, проявлять могущество и деятельность. Увидев раза два, как возделывают сад, как сажают, собирают, разводят овощи, он в свою очередь захочет заниматься огородничеством.

В силу установленных выше принципов, я не противлюсь его желанию; напротив, я содействую, разделяю его вкус, работаю с ним, не для его удовольствия, но для своего; по крайней мере он так думает. Я делаюсь его огородником: в ожидании пока у него разовьется мускульная сила, я вскапываю за него землю; он входит во владение священное и почтенное того, когда Нуньес Бальбао во имя испанского короля вступал во владение Южной Америкой, всадив в землю древко своего знамени на берегах Южного моря ¹¹.

Ежедневно мы приходим поливать бобы и с восторгом следим за их всходом. Я увеличиваю эту радость, говоря ему: «это принадлежит тебе», и, объясняя ему при этом выражение «принадлежит», даю ему почувствовать, что он положил сюда свое время, свой труд, свои заботы, одним словом, свою личность, что в этой земле есть частица его самого, которую он может требовать назад, от кого бы то ни было, подобно тому как он мог бы вырвать свою руку из руки другого человека, которому вздумалось бы насильно ее удержать.

В один прекрасный день он спешит туда, с лейкою в руке, и... о, зрелище! о, горе! бобы все вырваны, почва вся взрыта, — не узнаешь даже места. Увы! Куда девался мой труд, моя работа, сладкий плод моих забот и стараний? Кто похитил у меня мое добро? кто отнял мои бобы? Молодое сердце возмущено: в первый раз чувство несправедливости только что излило в него свою черную горечь; слезы текут ручьями; безутешное дитя наполняет воздух воплями и криками. В его горе и негодовании принимают участие, ищут, осведомляются,

* Вот почему большинство детей желают получить обратно то, что они подарили, и плачут, если им не хотят возвращать. Этого не бывает уже с ними, когда они хорошо поняли, что такое дар; но дарят они после этого уже с большой осмотрительностью.

производят расследование. Наконец, оказывается, что натворил беду огородник: его призывают.

Но мы совершенно ошиблись в расчете. Огородник, узнав причину жалобы, начинает жаловаться еще громче нас: «Как, господа! это вы испортили так мою работу! Я посеял тут мальтийские дыни, семена которых получены мною, как драгоценность, и которыми я надеялся угостить вас, когда они созреют; и вот вы, чтобы посадить свои жалкие бобы, истребили у меня дыни, а они уж совсем было взошли, и их совершенно нечем мне заменить. Вы мне нанесли непоправимый ущерб, и сами лишены удовольствия поесть редких дынь».

Ж а н - Ж а к. Извините нас, любезный Робер! Вы положили сюда свой труд, свои усилия. Я хорошо вижу, что мы виноваты в том, что испортили вашу работу, но мы вам доставим еще мальтийских семян и не станем уже копать землю, не разузнав сначала, не трудился ли на ней кто-нибудь раньше нас.

Р о б е р. Нет, господа! Вам придется отложить свои заботы: свободной земли больше почти нет. Я обрабатываю ту, которую удобрил отец мой; каждый со своей стороны делает то же: все земли, которые вы видите, давным-давно заняты.

Э м и л ь. Господин Робер! Значит семена дынь часто пропадают?

Р о б е р. Нет, извините, милый мальчик! К нам не часто являются такие шаловливые мальчуганы, как вы. Никто не трогает огорода своего соседа; каждый уважает труд другого, чтобы и его собственный был обеспечен.

Э м и л ь. Но у меня нет огорода.

Р о б е р. Ну так что же из этого? Если вы будете портить мой огород, я не стану больше пускать вас в него гулять: я, знаете ли, не хочу даром терять своего труда.

Ж а н - Ж а к. Нельзя ли предложить сделку доброму Роберу? Пусть он нам уступит, моему маленькому другу и мне, уголок своего огорода для обработки с условием получить половину продуктов.

Р о б е р. Я уступаю вам без условий. Но помните, что я вскопаю ваши бобы, если вы тронете мои дыни.

Из этого опыта передачи детям первоначальных понятий мы видим, как идея собственности естественно восходит к праву первого завладения путем труда. Это ясно, наглядно и просто и всегда доступно детскому пониманию. Отсюда до права собственности и до обмена один всего шаг, после которого следует тотчас остановиться.

Ясно, кроме того, что объяснение, которое занимает у меня тут две страницы, на практике, может быть, будет делом целого года, ибо в сфере нравственных идей нужно подвигаться вперед как можно медленнее и как можно тверже упрочивать каждый шаг. Молодые

наставники, подумайте, прошу вас, над этим примером и помните, что во всякой сфере уроки ваши должны заключаться скорее в действиях, чем в речах, ибо дети легко забывают, что сказали и что им сказано, но не забывают того, что сделали и что им сделано.

Подобные наставления нужно давать, как я сказал, то раньше, то позже: кроткий характер воспитанника ускоряет эту нужду, буйный — замедляет; способ вести эти наставления совершенно очевиден, но чтобы не упустить в трудном вопросе ничего важного, дадим еще пример.

Неугомонный ребенок ваш портит все, до чего ни дотронется. Вы не должны сердиться: удалите только с глаз долой все, что он может испортить. Он ломает свою мебель — не торопитесь заменить ее новою: дайте ему почувствовать вред лишения. Он бьет окна в своей комнате: пусть на него ночь и день дует ветер — не бойтесь, что он получит насморк: лучше ему быть с насморком, чем сумасбродом. Никогда не жалуйтесь на неудобства, которые он вам причиняет, но постарайтесь, чтоб он первый почувствовал их. Наконец, вы велите вставить новые стекла, все-таки не говоря ему ни слова. Он снова разбивает. Теперь перемените метод: скажите ему сухо, но без гнева: «Окна принадлежат мне, они застеклены на мой счет; я хочу, чтоб они были целы». Затем закройте его в темноту, в комнату без окон. При этом столь необычайном вашем поступке он начинает кричать, бушевать; никто его не слушает. Скоро он утомляется и переменяет тон; он жалуется и рыдает. Является слуга; упрямец просит его выпустить. Слуге нечего и искать предлога к отказу — он просто отвечает: «У меня тоже есть окна; я тоже хочу, чтоб они были целы» — и уходит. Наконец, когда ребенок пробудет там несколько часов, настолько долго, чтобы заскучать и потом помнить об этом, кто-нибудь внушает ему мысль предложить вам соглашение, чтобы вы возвратили ему свободу, если он обяжется не бить стекол. Лучшего и не надо. Он просит вас позвать к нему; вы приходите; он делает свое предложение, вы тотчас принимаете его, говоря: «Вот отлично придумано! Мы оба выиграем. И как это раньше ты не додумался до этой прекрасной мысли!» Затем, не требуя ни уверений, ни подтверждения своего обещания, вы радостно обнимаете его и тотчас же вводите в его комнату, считая это соглашение столь же священным и ненарушимым, как если б оно было скреплено клятвой. Какое, вы думаете, понятие вынесет он из всего этого случая о верности взаимных обязательств и пользе их? Я жестоко обманулсЯ бы, если бы нашелся в свете хоть один ребенок, еще не испорченный, на которого не подействовал бы этот образ действий и который захотел бы после этого нарочно бить окна. Проследите цепь, связывающую все это.

Копая ямку, чтобы посадить свой боб, маленький шалун и не думает, что он копает яму, куда скоро засадит его жизненный опыт *.

Теперь мы в сфере нравственных отношений; теперь открыта дверь для порока. Вместе с договорами и обязанностями рождается обман и ложь. Лишь только является возможность делать то, чего не должно, является и желание скрыть то, чего не следовало бы делать. Как скоро обещание вызывается интересом, другой интерес, больший, может заставить нарушить его; все дело тут в том, чтобы нарушить безнаказанно; средства для этого вполне естественные — скрытность и ложь. Не имея возможности предупредить порок, мы здесь уже поставлены в необходимость его наказывать. Вот источник бедствий человеческой жизни, которые начинаются с началом заблуждений.

Я уже достаточно доказывал, что наказание никогда не следует налагать на детей, как наказание, что оно должно всегда являться естественным последствием их дурного поступка. Итак, не гремите красноречием против лжи, не наказывайте детей прямо за то, что они солгали: но сделайте так, чтобы если они солгали, то на их голову пали и все дурные последствия лжи, которая ведет к тому, например, что нам совсем не верят, когда мы говорим правду, или, несмотря на все наши оправдания, обвиняют в дурном поступке, которого мы не совершили. Но объясним, что значит для детей лгать.

Есть два рода лжи: ложь на деле, которая относится к прошлому, и ложь в помысле, касающаяся будущего. Первая имеет место, когда отрицают сделанное или утверждают, что сделали то, чего не сделано, вообще когда заведомо говорят против истины факта. Вторая бывает, когда обещают, не думая сдержать обещание, и вообще когда выказывают намерение, противное тому, какое имеется в действитель-

* Впрочем, если бы это сознание необходимости исполнять свои обязательства не подкреплялось в уме ребенка соображениями пользы, то начинающееся зарождающееся внутреннее чувство скоро внушило бы ему это сознание, как закон совести, как врожденный принцип, для развития которого требуются только те факты сознания, к которым он применяется. Эта первая черта начертана в нашем сердце не рукою человека, но Творцом всякой справедливости. Отнимите эту первоначальную основу договора и обязательств, им налагаемых, и все станет пустым и призрачным в человеческом обществе. Кто держится своего обещания лишь в силу выгоды, тот не больше связан, чем если бы он совсем ничего не обещал, — по крайней мере он будет иметь возможность нарушать его, поступая, как игрок, который не спешит воспользоваться случаем, чтобы выждать другого момента, когда можно будет воспользоваться им с большей выгодой. Это правило в высшей степени важно и заслуживает глубокого изучения, ибо здесь именно человек начинает впадать в противоречие с самим собой.

ности. Эти оба рода лжи могут иногда сливаться в одно *; но здесь я рассматриваю те стороны, которыми они отличаются.

Кто чувствует нужду в чужой помощи, кто не перестает испытывать на себе расположение других, тому нет никакого интереса обманывать их; напротив, он находит очевидную выгоду в том, чтобы они видели вещи в истинном свете, из опасения, чтоб обман их не послужил ему во вред. Отсюда ясно, что ложь на деле не свойственна детям; но закон послушания и вызывает необходимость лгать, ибо так как послушание тяжело, то всякий, как можно больше, тайком уклоняется от него, а близкая выгода избежать наказания или выговора берет верх над отдаленною выгодой, сопряженной с изложением истины. При естественном и свободном воспитании из-за чего станет лгать вам ребенок? что ему скрывать от вас? Вы не журите его, не наказываете, ничего от него не требуете — отчего же ему не рассказать вам всего того, что он сделал, так же откровенно, как и своему маленькому товарищу? В этом признании для него не больше опасности в первом случае, чем во втором.

Ложь в помысле еще менее свойственна детям, потому что обещания делать что-либо или не делать чего-либо суть акты договора, которые выходят уже за пределы естественного состояния и нарушают свободу. Мало того, все обязательства детей ничтожны и сами по себе; ибо, принимая обязательство, они и сами не знают, что делают, так как их ограниченный взор не может простираться дальше настоящего. Едва ли ребенок может лгать, когда он принимает обязательство: так как он только и думает о том, чтобы выпутаться из беды в настоящую минуту, то всякое средство, не ведущее к немедленному действию, делается для него годным: своим обещанием на будущее время он не обещает ничего; воображение ребенка, пока еще дремлющее, не умеет распространить бытия его на две различные сферы времени. Если б обещанием броситься завтра из окна он мог избежать розг или получить коробку конфет, он тотчас же дал бы такое обещание. Вот почему законы считают недействительными обязательства детей; если же строгие отцы и наставники добиваются от них исполнения обязательств, то лишь по отношению к тому, что ребенок должен был бы сделать и без всякого обещания.

Не сознавая того, что делает, когда дает обязательство, ребенок не может поэтому и давать ложных обязательств. Не то бывает, когда он нарушает обещание: это новый род лжи — ложь обратно

* Когда, например, преступник, обвиняемый в преступлении, в защите своей ссылается на то, что он честный человек. Тут ложь касается и дела, и помысла.

действующая, ибо он очень хорошо помнит свое обещание, но не видит большой важности в том, выполнено оно или нет. Не будучи в состоянии читать книгу будущего, он не может предвидеть и последствий факта, и, когда он нарушает свои обязательства, он поступает как раз сообразно со своим возрастом.

Отсюда следует, что ложь детей — это дело наставников и что желать научить детей говорить правду значит не что иное, как учить их лгать. В пылу стремления направлять, руководить, наставлять никак не могут найти достаточного числа орудий, чтобы добиться цели. Путем безосновательных правил и неразумных наставлений хотят сделать новые захваты в области детского ума и предпочитают, чтобы дети восприняли их уроки и лгали, а не оставались невеждами и правдивыми.

Что же касается нас, то так как мы даем своим воспитанникам только уроки практические и больше желаем, чтоб они были добрыми, чем учеными, то и не станем домогаться от них истины из опасения, чтоб они не исказили ее, и не будем заставлять их делать обещания, которые им не захотелось бы исполнять. Если в мое отсутствие случится какая-нибудь беда и я не буду знать ее виновника, я остерегусь обвинять Эмиля или говорить ему: «Не ты ли это?» * Ибо чего я добьюсь этим, кроме того, что научу его записывать? Если же своенравный характер ребенка вынудит меня вступить с ним в какое-нибудь соглашение, то я приму все меры, чтобы предложение исходило всегда от него, а не от меня, чтобы если он дал обязательство, то всегда имел текущий и осязательный интерес выполнить его, чтобы в случае неисполнения эта ложь навлекла на него такие бедствия, источник которых он видел бы в самом порядке вещей, а не в мстительности своего воспитателя. Но я не имею ни малейшей нужды прибегать к таким жестоким средствам и почти уверен, что Эмиль очень поздно узнает, что такое ложь, и, узнав это, будет очень удивлен, не будучи в состоянии понять, для чего она может служить. Очевидно, что, чем более я делаю его благосостояние независимым от чужой воли или от чужих суждений, тем больше я отнимаю у него всякую выгоду лгать.

Если не спешат наставлять, то не спешат и требовать, делают все не торопясь, чтобы если требовать, то требовать кстати. Тогда ребен-

* Нет ничего нескромнее этого вопроса, особенно если ребенок виновен: в этом случае, если он подумает, что вы знаете его поступок, он увидит в вашем вопросе расставленные вами сети, и это мнение не может не вооружить его против вас. Если же он не подумает этого, он скажет себе: «Зачем же мне признаваться в своей вине?» И вот вам первая попытка лжи, явившаяся следствием вашего неразумного вопроса.

нок развивается уже тем самым, что не портится. Но если опрометчивый наставник, не умея взяться за дело, ежеминутно заставляет ребенка давать то те, то другие обещания, без различия, без выбора и без меры, ребенок, утомленный и отягощенный всеми этими обещаниями, перестает обращать на них внимание, забывает их, наконец, пренебрегает ими и, считая их пустыми словами, забавляется тем, что то дает их, то нарушает. Итак, если вы желаете, чтоб он был верен в слове, будьте скромны в своих требованиях.

Подробности, в которые я только что вдавался по поводу лжи, можно во многих отношениях применить и ко всем другим обязанностям, которые предписывают детям, делая, таким образом, их не только ненавистными, но и неисполнимыми. Чтоб явиться перед ними проповедниками добродетели, их заставляют полюбить все пороки; запрещая иметь их, тем самым наделяют ими. Хотят сделать детей благочестивыми и вот водят их скучать в церковь; заставляя постоянно бормотать молитвы, вынуждают их мечтать о том, как хорошо было бы совсем не молиться Богу. Чтобы внушить любовь к ближним, заставляют их подавать милостыню, как будто самим не стоит вовсе этим заниматься. Нет, не ребенок должен подавать, а наставник: какую бы ни питал он привязанность к своему воспитаннику, он должен оспаривать у него эту честь, он должен дать ему понять, что в его годы он не достоин еще этого. Милостыня — дело человека, который знает цену того, что дает, и нужду своего ближнего. Ребенок ничего этого не знает, и в пожертвовании нет для него никакой заслуги: он подает без чувства любви, тут нет милосердия; он чуть не стыдится подавать, думая на основании своего и вашего примера, что подают только дети, а взрослые уже не делают этого.

Заметьте, что ребенка всегда заставляют подавать вещи, цены которых он не знает, — деньги, которые он только для этого и носит в кармане. Ребенок скорее отдаст сто луидоров, чем один пирожок. Но попросите этого расточителя отдать вещи, которые ему дороги: игрушки, сласти, завтрак, и вы скоро увидите, действительно ли сделали его щедрым.

Дело бывает и так: ребенку очень скоро возвращают то, что он дал, так что он приучается отдавать все, что вполне надеется получить обратно. Я замечал в детях почти только эти два рода щедрости: они дают, что им совсем не нужно или то, в возвращении чего они уверены. Сделайте так, говорил Локк, чтоб они на опыте убедились, что самый богатый всегда есть вместе с тем и самый щедрый. Но это значит сделать ребенка щедрым на вид, а скупым на деле. Локк добавляет, что таким путем дети приучатся к щедрости. Да! К щедрости ростовщика, которая, по пословице, дает «карася», чтобы полу-

чить «поросся»¹². Но когда дело пойдет о том, чтоб и вправду дать что-нибудь, прости и привычка! Перестанут им возвращать, и они сейчас же перестанут давать. Подумайте скорее о привычках души, чем о привычке рук. Все другие добродетели, которым учат детей, походят на эту. И вот, проповедуя о таких прочных добродетелях, заставляют их влачить свои юные годы среди скуки! Не правда ли, какое ученое воспитание?

Наставники! Бросьте жеманничать, будьте добродетельны и добры; пусть примеры ваши запечатлеваются в памяти воспитанников ваших, в ожидании, пока не проникнут в сердца. Вместо того чтобы спешить требовать от моего воспитанника дело милосердия, я лучше сам буду совершать их в его присутствии и отниму у него даже возможность подражать мне в этом: такая честь ему не по летам; ибо важно, чтобы он не привыкал смотреть на человеческие обязанности только как на обязанности детские. Если же, видя, как я помогаю бедным, он начнет расспрашивать меня об этом, я скажу ему, когда придет время сказать*: «Друг мой, я поступаю так потому, что когда бедные согласились, чтобы были и богатые, то богачи обещали кормить тех, которые ни в своем имуществе, ни в труде не найдут средств к жизни». — «Значит, вы тоже обещали это»? — возразил он. «Конечно! Распоряжаться добром, которое идет через мои руки, я тогда только могу, если соблюдаю условие, связанное с обладанием этим добром».

Услыхав эту речь, — а мы видели уже, как довести ребенка до понимания ее, — иной (но не Эмиль) захотел бы, пожалуй, подражать мне и вести себя на манер богача; в подобном случае я по крайней мере не дал бы ему такой возможности; я предпочел бы, чтоб он похитил у меня мое право и подавал бы тайком. Такой обман свойствен его возрасту и единственный, который я простил бы ему.

Знаю, что все эти добродетели из-за подражания суть добродетели обезьяны и что всякое доброе дело бывает только тогда нравственно добрым, когда совершается как таковое, а не в силу того, что так поступают другие. Но в возрасте, когда сердце ничего еще не чувствует, не мешает заставлять детей подражать действиям, к которым хотят их приучить, в ожидании, пока они будут в состоянии совершать их сознательно и вследствие любви к добру. Человек — подражатель, даже животное склонно к тому же; склонность к подражанию —

* Разумеется, я разрешаю его вопросы не тогда, когда ему угодно, но когда сам сочту нужным; поступать иначе значило бы подчиняться его воле и ставить себя в самую опасную зависимость — в зависимость воспитателя от воспитанника.

свойство упорядоченной природы; но она вырождается в порок среди общества. Обезьяна подражает человеку, которого боится, и не подражает животным, которых презирает; она считает хорошим то, что делает существо, стоящее выше ее. Среди нас дело происходит наоборот: наши всевозможные арлекины подражают прекрасному с целью унижить его, сделать смешным; в сознании своей низости они стараются сравнить с собою то, что лучше их; если же и силятся скопировать то, чему удивляются, то в самом выборе предметов уже обнаруживается ложный вкус подражателей: они добиваются того, чтоб обморочить других или вызвать одобрение своему искусству, вместо того чтобы самим сделаться лучше и умнее. Основой подражания у нас бывает желание выходить постоянно за пределы своей природы. Если я успею в своем предприятии, Эмиль, наверное, не будет иметь такого желания. Таким образом, мы должны отказаться от той мнимой выгоды, которую оно может принести.

Вникните во все правила нашего воспитания, и вы найдете, что они все наизусть, особенно в том, что касается добродетелей и нравов. Один только урок нравственности годен для детства и в высшей степени важен для всякого возраста — это не делать никому зла. Самое наставление делать добро, если оно не подчинено этому правилу, опасно, лживо и противоречиво. Кто только не делает добра? Все его делают, и злой не отстает от других: за счет сотни несчастных он делает одного счастливым, а отсюда — все наши бедствия. Самые высокие добродетели суть добродетели отрпцательные; они вместе с тем и самые трудные, потому что чужды тщеславия и стоят выше даже того, столь сладостного для человеческого сердца удовольствия, чтобы другого отпустить от себя довольным. О, какое благо непременно делает своим ближним тот (если есть такой человек), кто никогда не делает им зла! Какая отвага духа, какая мощь характера нужна для этого! Не рассуждениями об этом правиле, но только пытаясь приложить его к делу, можно убедиться, как важно и трудно иметь в этом успех *.

* Правило никогда не вредить ближнему влечет за собою другое правило — как можно меньше иметь связей с человеческим обществом, ибо в общественном строе благо одного по необходимости бывает источником зла для другого. Отношение это лежит в сущности вещей, и ничто не может его изменить. Можно задаться вопросом на основании этого принципа, кто лучше: человек общительный или тот, кто любит уединение? Один знаменитый писатель говорит¹³, что только злой бывает одинок; что касается меня, то я утверждаю, что только добрый живет одиноко. Если это предположение менее поучительно, зато оно справедливее и разумнее первого. Если бы злой был одинок, какое он делал бы зло?

Вот несколько слабых соображений о предосторожностях, желательных при наставлении детей, к которому приходится иной раз прибегать, чтобы не дать им возможности вредить себе или другим, а особенно перенимать дурные привычки, от которых трудно будет потом их отучить; но будьте уверены, что эта необходимость редко будет представляться для детей, воспитанных как следует, потому что невозможно, чтоб они стали непослушными, злыми, лживыми, жадными, если в их сердцах не посеять пороков, делающих их таковыми. Таким образом, сказанное мною по этому вопросу скорее относится к исключениям, чем к правилу; но эти исключения учащаются по мере того, как детям представляются случаи выходить из своего состояния и заражаться пороками взрослых. Детям, которых воспитывают среди общества, необходимы наставления более ранние, чем воспитывающимся в уединении. Значит, подобное воспитание в одиночку было бы предпочтительнее уже потому, что оно давало бы ребенку время созреть.

Другой род исключений, совершенно противоположный, составляют дети, счастливая природа которых возвышает их над их возрастом. Как есть люди, которые никогда не выходят из детства, так есть и другие, которые не проходят, так сказать, детского возраста и почти от рождения суть взрослые. Беда в том, что это последнее исключение очень редко встречается, весьма трудно распознается и что ни одна мать, воображая, что ребенок может быть чудом, не сомневается, что именно ее ребенок один из таких. Матери идут дальше; они принимают за необычайные приметы те самые, которые указывают на обычный порядок: живость, горячность, ветреность, остроумную наивность; но все это признаки, характерные для возраста и лучше всего доказывающие, что ребенок есть только ребенок. Удивительно ли, что ребенок, которого заставляют много болтать, которому позволяют все говорить, который не стеснен ни в каком отношении никакими приличиями, натолкнется случайно и на удачную остроту? Гораздо удивительнее было бы, если б этого не случилось, точно так, как было бы удивительно, если б астролог, тысячу раз предсказывая ложно, ни разу не сказал бы правды. Они столько будут лгать, говорил Генрих IV, что наконец скажут правду. Кто хочет выдумать какпе-нибудь остроты, тому стоит только говорить больше глупостей. Храни Бог от беды тех модных людей, которые ничем иным не заслужили того, что их везде хорошо принимают.

Лишь среди общества он расставляет свои орудия, чтобы вредить другим. Если кто хочет повернуть этот аргумент в пользу доброго человека, то мой ответ в тексте, к которому относится это примечание.

Самые блестящие мысли могут попасть в голову детей, или, лучше сказать, умнейшие слова попадают им на язык, точно так, как и самые ценные алмазы могут очутиться у них в руках; но это не значит, что мысли или алмазы принадлежат им; для этого возраста нет еще истинной собственности в той или иной области. Слова, которые говорит ребенок, для него бывают не тем, чем для нас: он связывает с ними не такие же идеи. Идеи эти, если они есть, не имеют в его голове ни последовательности, ни связи: ничего точного, ничего уверенного нет во всех его мыслях. Рассмотрите ближе ваше мнимое чудо. В иные моменты вы найдете в нем порыв необыкновенной деятельности, ясность ума, готовую пронизать облака. Но чаще всего тот же самый ум кажется вам слабым, вялым и как бы окутанным густым туманом. Он то опережает вас, то остается неподвижным. Порою вы скажете: «Это гений», а минуту спустя: «Это глупец». Оба раза вы ошибаетесь: это только ребенок. Это орленок, который в одну минуту рассекает воздух, а минуту спустя падает снова в гнездо.

Обращайтесь же с ним сообразно с его возрастом, несмотря на обманчивые признаки, и берегитесь, как бы излишним упражнением не истощить его силы. Если молодой мозг разгорячается, если вы видите, что он начинает кипеть, дайте ему прежде всего отстояться на просторе, но никогда не подогревайте его, чтоб он совсем испарился; а если первые брызги ума испарятся, удерживайте, крепче храните остальные, пока с годами не обратится все в животворную теплоту и в истинную силу. Иначе вы потеряете время и хлопоты, разрушите свое собственное дело и, неосторожно упившись всеми этими жгучими парами, в остатке получите только выжимки, лишенные всякой крепости.

Из ветреных детей выходят дюжинные взрослые: я не знаю наблюдения более общего и более верного, чем это. Нет ничего труднее, как различить в детстве действительную тупость от той наружной и обманчивой тупости, которая бывает предвестником сильного духа. На первый взгляд кажется странным, что эти две крайности имеют столь сходные признаки; однако это так и должно быть; ибо в возрасте, когда человек не имеет еще никаких истинных идей, вся разница между тем, у кого есть гений, и тем, у кого его нет, заключается в том, что последний принимает лично ложные идеи, тогда как первый, находя лишь ложные идеи, не принимает ни одной. Он похожит, значит, тем на глупца, что один ни на что не годен, а другому ничто не годно. Единственный признак, по которому можно различить их, зависит от случая: случай может предоставить последнему сильную идею, тогда как первый всегда и везде один и тот же. Младший Катон ¹⁴ в детстве казался в семье тупоумным. Он был мол-

чалив и упрям — вот все, что могли сказать о нем. Только в передней Суллы дядя его научился распознавать его. Не войди он в эту переднюю, он, быть может, слыл бы тупицей вплоть до разумного возраста; не живи Цезарь, быть может, этого самого Катона, разгадавшего пагубный гений первого и столь далеко предвидевшего все его замыслы, все время считали бы вздорным пророком. О, как легко ошибиться тому, кто судит о детях столь поспешно! Такие люди часто больше самих детей бывают детьми. Я знаю, как один человек ¹⁵ пожилых уже лет, удостоивший меня своей дружбы, слыл в кругу семьи и друзей весьма ограниченным: этот превосходный ум зрел в тишине. Вдруг он выказал себя философом, и я не сомневаюсь, что потомство даст ему почетное и выдающееся место между лучшими мыслителями и наиболее глубокими метафизиками его века.

Уважайте детство и не торопитесь судить о нем ни в хорошую, ни в дурную сторону. Дайте исключениям обнаружиться, доказать себя, подольше укрепиться, прежде чем принимать по отношению к ним особые методы. Дайте дольше действовать природе, прежде чем возьметесь действовать вместо нее, чтобы не помешать, таким образом, ее работе. Вы знаете, говорите вы, цену времени и не хотите его терять. Но разве вы не видите, что дурное употребление его скорее, чем ничегонеделание, можно назвать потерей времени и что дурно направленный ребенок гораздо дальше от мудрости, чем тот, которого совсем не наставляли? Вы тревожитесь, видя, как он проводит свои первые годы, ничего не делая. Как! Разве быть счастливым не значит ничего? Разве прыгать, играть, бегать целый день значит ничего не делать? Да он во всю свою жизнь не будет так занят! Платон в «Государстве», которое считают столь суровым, воспитывает детей не иначе, как среди празднеств, игр, песен, забав; можно было бы сказать, что научить их веселиться и было его главной целью; а Сенека говорит о древнеримской молодежи, что она была всегда на ногах, что ее ничему не учили такому, что изучают сидя ¹⁶. Разве от этого она была хуже, достигая возмужалости? Не бойтесь же этой мнимой праздности. Что сказали бы вы о человеке, который с целью из всей жизни извлечь пользу, вздумал бы не спать никогда? Вы сказали бы: это человек безумный; он не пользуется временем, а отнимает его у себя; чтобы избежать сна, он бежит навстречу смерти. Помните же, что здесь то же самое и что детство — сон разума.

Кажущаяся легкость учения и есть причина гибели детей. Мы не видим, что самая легкость эта служит доказательством того, что они ничему не научаются. Мозг их, гладкий и отполированный, отражает, подобно зеркалу, представляемые ему предметы; но в нем ничего не остается, ничто не проникает внутрь. Слова ребенок запоминает,

а идеи отскакивают прочь: слушающие понимают их, один он не понимает их.

Хотя память и мышление — две существенно различные способности, однако на самом деле первая развивается лишь вместе со вторым. До наступления разумного возраста ребенок воспринимает не идеи, но образы; а между ними та разница, что образы суть отрешенные от действительности картины чувственно воспринимаемых предметов, идеи же суть понятия о предметах, определяемые отношениями последних. Образ может оставаться одиноким в уме, его представляющем, но всякая идея предполагает другие. Работая воображением, мы только видим; понимая — сравниваем. Ощущения наши носят характер чисто пассивный, тогда как восприятия или идеи рождаются из активного начала, которое судит. Это будет доказано ниже.

Итак, я говорю, что дети, не будучи способны к суждению, не имеют и настоящей памяти. Они удерживают звуки, образы, ощущения, редко идеи, еще реже связь их. Думают опровергнуть меня возражением, что дети выучивают же некоторые элементы геометрии; но это как раз и говорит за меня: это доказывает, что они не только не умеют сами рассуждать, но не умеют даже запомнить рассуждения других; проследите методы этих маленьких геометров, и вы тотчас увидите, что они запомнили лишь точное начертание фигур и термины доказательства. При малейшем новом возражении они теряют голову; переверните фигуру, и они станут в тупик. Все их знание — в ощущении: они ни в чем не дошли до понимания. Самая память их не более совершенна, чем остальные способности, потому что, когда они становятся взрослыми, им почти всегда приходится персучивать вещи, вместо которых в детстве они заучили слова.

Я, впрочем, далеко не думаю, чтобы дети не имели никакой способности рассуждать *. Напротив, я знаю, что они очень хорошо рас-

* При писании мне сто раз приходило в голову, что невозможно в обширном труде одним и тем же словам придавать всегда один и тот же смысл. Нет языка настолько богатого, чтобы дать столько терминов, оборотов, фраз, сколько оттенков могут иметь наши идеи. Система определять все термины, беспрестанно заменять определяемое определением хороша, но не практична, ибо как избежать круга? Определения могли бы быть хороши, если бы мы для составления их употребляли не слова. Несмотря на это, я убежден, что даже при бедности нашего языка можно быть ясным: это достигается не тем, что одним и тем же словам всегда придаешь одни и те же значения, а тем, что при употреблении каждого слова стараешься, чтобы придаваемое ему значение достаточно определялось относящимися к нему мыслями и чтобы каждый период, где встречается это слово, служил для него, так сказать, определением. То я говорю, что дети не

суждают в той области, которая им знакома и касается их текущих и осязательных интересов. Но относительно их познаний мы и заблуждаемся, приписывая им такие, каких они не имеют, и заставляя рассуждать о том, чего они не умеют понять. Ошибаемся мы и в том, что желаем устремить их внимание на соображения, несколько их не интересующие, например на предстоящую выгоду, на счастье в лета возмужалости, на уважение, которое будут питать к ним, когда они вырастут; все эти речи, обращенные к лицам, лишенным всякой предусмотрительности, не имеют для них решительно никакого значения. Меж тем все насильственное обучение этих бедных малюток направлено именно на такие предметы, совершенно чуждые их уму. Судите после этого о внимании, которое они могут оказать при этом ¹⁷.

Педагогам, которые с великим торжеством выставляют перед нами познания, преподанные ими своим ученикам, уплатили за то, чтобы они вели иную речь, чем я; однако по их собственному поведению видно, что они думают точно так, как я. Ибо чему же, наконец, они учат детей? Словам, словам и вечно словам. Между различными науками, которым они хвастливо берутся обучать, они тщательно избегают выбирать такие, которые действительно были бы полезны детям, как науки о вещах, и в которых дети, конечно, не успевали бы; но выбирают такие, в которых можно показаться знающим, выучив одни термины: геральдику, географию, хронологию, языки и т. п., — все это знания столь далекие от человека, особенно от ребенка, что было бы чудом, если бы что-нибудь из всего этого хоть раз в жизни могло ему пригодиться.

Иной будет удивлен, что я отношу изучение языков к числу вещей бесполезных в воспитании; но он не должен забывать, что я говорю здесь только о занятиях первоначального возраста; что бы там ни толковали, я не думаю, чтобы какой-нибудь ребенок — я не говорю о чудесах — мог до 12- или 15-летнего возраста действительно изучить два языка.

Я согласен, что если б изучение языков состояло только в изучении слов, т. е. образов и звуков, их выражающих, то оно могло бы годиться для детей; но языки, изменяя наименования, переменяют и идеи, ими представляемые. Склад головы формируется по языкам; мысли принимают окраску наречий. Один разум — всеобщ; ум в каждом языке имеет свою особую форму, свое отличие, которое отчасти может быть и причиной или следствием национальных характе-

способны рассуждать, то заставляю их рассуждать довольно тонко. Не думаю, что я в этом противоречу сам себе в своих мыслях, но не могу не сознаться, что часто противоречу в своих выражениях.

ров; догадка моя подтверждается тем, что у всех наций мира язык следует за переменами в нравах и, подобно последним, сохраняется или портится.

Из этих различных форм ребенок практически знакомится только с одной; ее единственно и сохраняет до разумного возраста. Чтоб иметь две, ему нужно уметь сравнивать идеи; а как он станет их сравнивать, когда он едва в состоянии воспринять их? Каждую вещь можно обозначить тысячью различных знаков, но каждая идея может иметь всего одну форму: значит, только на одном языке он и может научиться говорить. Однако, возражают мне, он научается несколькими. Я отрицаю это. Я видел эти маленькие феномены, которые воображают, что говорят на 5—6 языках. Я слышал, как они по-немецки говорили поочередно словами латинскими, французскими, итальянскими: правда, они пускали в дело 5—6 словарей, но говорили они всегда только по-немецки. Одним словом, давайте детям сколько угодно синонимов: вы измените слова, не язык; язык они всегда будут знать только один.

Чтобы скрыть неспособных детей в этом отношении, их заставляют изучать преимущественно мертвые языки, относительно которых не существует уже неопровержимых судей. Так как обыденное употребление этих языков давным-давно исчезло, то довольствуются подражанием тому, что написано в книгах; и это называется «говорить» на этих языках. Если уж таков греческий и латинский язык учителей, то судите после этого о языке детей! Едва успевают они зазубрить свои «Начатки»¹⁸, в которых решительно ничего не понимают, как их учат уже сначала передавать французскую речь латинскими словами, затем, когда они более успеют, кроить прозою периоды Цицерона и стихами центоны Вергилия¹⁹. И вот они воображают, что говорят по-латыни: кто станет им противоречить?

При каком бы то ни было изучении одни наименования, без идеи о представляемых ими вещах, равно ничего не значат. А меж тем ребенка только и учат этим знакам, не будучи никогда в состоянии довести его до понимания вещей, представляемых этими знаками. Думают обучить его землеописанию, а научают только видеть карты; обучают именам городов, стран, рек, существование которых он не может себе представить иначе, как на бумаге, где ему их указывают. Помню, я видел где-то географию, которая начиналась так: «Что такое земля? Это картонный глобус». Такова именно детская география. Я утверждаю за достоверное, что нет ни одного ребенка лет десяти, который, просидевши года два над сферой и космографией, сумел бы на основании данных ему правил добраться из Парижа до Сен-Дени²⁰. Я считаю за факт, что не найдется ни одного, который по плану от-

цовского сада сумел бы, не заблудившись, обойти все его извороты. Вот каковы эти ученые, умеющие в любое время указать, где Пекин, где Исфагань ²¹, где Мексика и все страны мира.

Говорят, что детей следует занимать таким изучением, где нужны только глаза; с этим можно было бы согласиться, если бы существовала такая наука, где нужны только глаза; но я не знаю такой.

Вследствие другого, еще более смешного заблуждения их заставляют изучать историю: воображают, что история как раз им по силам, так как она есть только собрание фактов. Но что же разумеют под этим словом — «факты»? Неужели думают, что отношения, определяющие исторические события, так легко схватить, что идеи их без труда формируются в уме детей? Неужели полагают, что истинное знание событий можно отделить от знания причин их и следствий, что исторические явления так мало связаны с нравственными, что можно ознакомиться с одними, не зная других? Если в действиях людей вы видите только внешние и чисто физические движения, то чему же вы учитесь в истории? Решительно ничему; и это изучение, лишенное всякого интереса, не дает вам ни удовольствия, ни образования. Если вы хотите оценивать эти действия по их нравственным отношениям, попробуйте сделать эти отношения понятными для ваших учеников, и вы тогда увидите, что история им не по летам.

Читатели, помните всегда, что с вами говорит не ученый, не философ, но простой человек, друг истины, человек без партии, без системы, отшельник, который, мало живя с людьми, тем менее имеет случаи узнать их предрассудки и тем больше имеет времени для размышлений о том, что его поражает при сношениях с ними. Мои рассуждения основаны не столько на принципах, сколько на фактах; и я думаю, что дам вам лучшее средство судить об этом, если по временам буду приводить вам тот или иной пример наблюдений, внушивших мне эти рассуждения.

Я приехал на несколько дней в деревню к одной доброй матери семейства, которая очень заботилась о своих детях и об их воспитании. Раз утром, когда я присутствовал при уроках старшего из них, гувернер, очень хорошо обучивший его древней истории, воспроизводя историю Александра, остановился на известном поступке врача Филиппа ²², послужившем сюжетом для картины, и, конечно, вполне заслуженно. Гувернер, человек с достоинством, высказал о неустрашимости Александра несколько замечаний, которые мне не понравились, но я не стал оспаривать их, чтобы не уронить его в глазах воспитанника. За столом не преминули, по французскому обычаю, заставить мальчика много болтать. Живость, естественная в его возрасте, и ожидание неизбежных похвал принудили его наговорить

тысячу глупостей, сквозь которые прорывались по временам некоторые удачные выражения, заставлявшие забывать все остальное. Наконец, дошла очередь до истории врача Филиппа. Он рассказал ее очень ясно и бойко. После обычной дани похвал, которых требовала мать и ожидал сын, стали рассуждать по поводу рассказанного. Большинство порицало безрассудство Александра; некоторые, по примеру гувернера, удивлялись его твердости и мужеству, из чего я понял, что ни один из присутствовавших не видел, в чем состояла истинная прелесть поступка. «Что касается меня,— сказал я,— то мне кажется, что, если есть сколько-нибудь мужества или твердости в поступке Александра, то он не более как сумасбродство». Тогда все пришли к общему соглашению, что это было сумасбродство. Я думал было отвечать и стал горячиться, но одна женщина, сидевшая возле меня и не проронившая ни одного слова, наклонилась к моему уху и тихо сказала: «Молчи, Жан-Жак, они тебя не поймут». Я взглянул на нее и, пораженный, замолчал.

После обеда, подозревая по некоторым указаниям, что мой юный ученый совершенно ничего не понял в истории, которую так хорошо рассказал, я взял его за руку, сделал с ним один круг по парку и, расспросив все, как мне хотелось, нашел, что он удивился, как никто, столь хваленому мужеству Александра; но знаете ли, в чем он видел это мужество? Единственно в том, что тот в один прием проглотил неприятного вкуса напиток, не колеблясь и не выказав ни малейшего отвращения. Бедного ребенка недели за две перед тем заставили принять лекарство, которое он принял с большим трудом; он и теперь еще чувствовал во рту неприятный его вкус. Смерть, отравление он принял в своем уме лишь за неприятные ощущения; он не понимал иного яда, кроме александрийского листа. Однако нужно сознаться, что твердость героя произвела сильное впечатление на его юное сердце, и при приеме первого же лекарства, которое ему придется проглотить, он твердо решил быть Александром. Не входя в объяснения, которые были бы, очевидно, выше его понимания, я укрепил его в похвальных намерениях и вернулся домой, внутренне смеясь над высокою мудростью отцов и наставников, которые думают обучать детей истории.

Не трудно вложить им в уста названия королей, империй, войн, завоеваний, революций, законов; но когда придется связывать с этими словами ясные идеи, то все эти объяснения далеко будут уступать разговору с садовником Робером.

Иные читатели, недовольные словами: «Молчи, Жан-Жак», — спросят, как я предвижу, что же, наконец, нахожу я такого прекрасного в поступке Александра. Жалкие! Если вам нужно еще объяснять,

то где же вам понять это? Я нахожу то прекрасным, что Александр верил в добродетель, что он верил в нее, рискуя своей головой, рискуя собственной жизнью, что великая душа его была так создана, чтобы верить. Каким прекрасным исповеданием веры был этот прием лекарства! Нет, никогда смертный не заявил своей веры столь величественно. Если есть какой-нибудь новейший Александр, пусть укажут мне подобные черты в нем.

Если нет науки слов, то нет и науки, годной для детей. Если они не имеют истинных идей, то они не имеют и настоящей памяти, ибо я не называю так ту, которая удерживает одни ощущения. К чему начертывать в их уме целый каталог наименований, которые ничего для них не выражают? Изучая вещи, не изучат ли они и наименования? Зачем налагать на них бесполезный труд изучать их два раза? А меж тем какие опасные предрассудки начинают внушать им, заставляя их принимать за науку слова, не имеющие для них никакого смысла! С первого же слова, которым ребенок удовлетворяется, с первой же вещи, которой он научился с чужих слов, не видя сам ее полезности, способность суждения пропадает, и долго ему придется блистать в глазах глупцов, прежде чем он вознаградит эту потерю *.

Нет, если природа дает мозгу ребенка мягкость, которая делает его способным воспринимать всякого рода впечатления, то это не для того, чтобы на нем начертывали названия королей, чисел, термины геральдики ²³, космографии, географии и все те слова, не представляющие никакого смысла для его возраста и никакой пользы для какого бы то ни было возраста, которыми обременяют его грустное и бесплодное детство, но для того, чтобы все идеи, которые он может постичь и которые полезны ему, все идеи, которые относятся к его счастью и должны со временем просветить его насчет обязанностей, с ранних пор запечатлевались в нем неизгладимыми чертами и по-

* Большинство ученых учены на манер детей. Обширная эрудиция вытекает не столько из множества идей, сколько из множества образов. Даты, имена собственные, местности, все предметы, изолированные от идей или лишенные их, удерживаются в памяти единственно с помощью запоминания обозначений, и редко какая-нибудь из этих вещей вспоминается без одновременного воспоминания передней или задней страницы того листка, на котором мы о ней читали, или того образа, под которым она представилась нам в первый раз. Такою почти была модная наука последних столетий. Наука нашего века — иное дело: теперь не изучают, не наблюдают; теперь грезят, и грезы несколько дурных ночей важно выдают за философию. Мне скажут, что мне тоже грезится; согласен, но я — чего другие не делают — и выдаю свои грезы за грезы, предоставляя читателю искать, нет ли в них чего полезного для людей, которые не спят.

могали ему вести себя в течение своей жизни так, как это свойственно его существу и его способностям.

За отсутствием книжного обучения тот род памяти, который может быть у ребенка, не остается вследствие этого в бездействии; ребенка поражает все, что он видит или слышит, и он это запоминает; он держит в своем сознании реестр поступков и речей людей, и все окружающее служит для него книгой, из которой он, сам того не замечая, непрерывно обогащает свою память в ожидании, пока рассудок не будет в состоянии пользоваться ею. В выборе этих предметов, в заботе представлять ему постоянно те, которые он может познать, и скрыть те, которые он не должен знать, и состоит истинное искусство развивать в нем эту первую способность; этим именно путем и нужно стараться образовать для него запас знаний, которые служили бы для воспитания его в течение юности и направляли бы его поведение во всякое время жизни. Эта метода, правда, не создает из ребенка чуда и не дает гувернанткам и преподавателям случая блистать, но зато она формирует людей рассудительных, сильных, здоровых телом и умом, которые, не возбуждая удивления в юности, возбуждают уважение к себе, став взрослыми.

Эмиль никогда ничего не будет заучивать наизусть, даже басен Лафонтена, несмотря на всю их наивность, на всю их прелесть; ибо слова басен — это не басни, точно так, как и слова, составляющие историю, не история. Как можно быть настолько слепым, чтобы назвать басни детскою моралью, упуская из виду, что апология басни, забавляя детей, вводит в обман их, что, обольщенные ложью, они упускают истину и что старание сделать поучение приятным для них мешает им воспользоваться последним? Басни могут поучать взрослых, но детям нужно говорить голую правду: как скоро ее прикрывают покрывалом, они уже не дают себе труда поднять его.

Всех детей заставляют учить басни Лафонтена, и нет ни одного ребенка, который понимал бы их. Если бы они понимали, было бы еще хуже, ибо мораль их так запутана и настолько не соответствует детскому возрасту, что направила бы ребенка скорее к пороку, чем к добродетели. «Опять парадоксы!» — скажете вы. Пусть так; но посмотрим, не истинны ли они.

Я говорю, что ребенок не понимает басен, учить которые его заставляют, потому что, какое бы усилие ни употребляли, чтобы сделать их простыми, желание извлечь из них поучение вынуждает нас вводить туда такие идеи, которых ребенок не может усвоить, потому что самая поэтическая форма, облегчая заучивание, затрудняет понимание их, так что приятность покупается за счет ясности. Не называя множества басен, в которых ничего нет понятного и полезного

для детей и которые все-таки заставляют без разбора заучивать вместе с другими, ограничимся теми, которые автор составил как бы специально для детей.

Во всем собрании басен Лафонтена я знаю всего 5—6 таких, где вполне блещет детская наивность; из этих 5—6 я беру для примера первую *, потому что мораль ее больше всего подходит ко всякому возрасту, потому что дети лучше всего ее понимают и заучивают с наибольшим удовольствием, наконец, потому что ввиду всего этого и сам автор предпочел поместить ее во главе своей книги. Если действительно предположить, что содержание ее понятно детям, нравится им и может поучать их, то, конечно, басня эта — образцовое его произведение. Пусть же мне будет позволено в немногих словах проследить и разобрать ее.

LE CORBEAU ET LE RENARD ²⁴, Fable ²⁵.

Maître corbeau, sur un arbre perché ²⁶

Maître ! Что значит это слово само по себе? Что значит оно, когда стоит перед именем собственным? Какой в этом случае имеет смысл?

Что такое un corbeau — «ворон»?

Что такое un arbre perché ?

Не говорится: sur un arbre perché, а говорят: perché sur un arbre. Следовательно, нужно повести речь о перестановке слов в поэзии: нужно сказать, что такое проза и что такое стихи.

Tenoit dans son bec un fromage ²⁷.

Какой сыр: швейцарский, бри или голландский? Если ребенок не видал воронов, какая вам польза говорить о них? Если он видел, как он представлял себе, что ворон держит сыр в клюве? Картины рисовать всегда станем с природы.

Maître renard, par l'odeur alléché... ²⁸

Опять maître! Но тут это слово у места: лисица — очень ловкий «мастер» — maître своего дела. Нужно сказать, что такое un renard — «лисица», и отличить ее естественный характер от условного, который придают ей в баснях.

Alléché. Это слово редко употребительное. Нужно его объяснить; нужно сказать, что оно употребляется только в стихах. Ребенок спросит, почему в стихах говорят иначе, чем в прозе. Что вы ему ответите?

* Это вторая, а не первая, как справедливо заметил г. де Формей.

Alléché par l'odeur. Сыр, который держал сидевший на дереве ворон, должен был иметь очень сильный запах, чтоб лисица могла его пронюхать из перелеска или из норы своей! Так-то вы изощряете в вашем воспитаннике способность к рассудительной критике, которая если и впадает в обман, то не иначе, как приняв все меры предосторожности, и которая умеет в чужих рассказах отличить истину от лжи!

Lui tint à peu près ce langage ²⁹.

Ce langage — «такую речь»! Значит, лисицы говорят? Значит, они говорят на одном языке с воронами? Мудрый наставник, берегись: взвесь хорошо свой ответ, прежде чем дать его; он важнее, чем ты думаешь.

Eh! bonjour, monsieur le corbeau! ³⁰

Monsieur! — титул, на глазах ребенка обращаемый в насмешку, даже прежде чем он узнает, что это титул почетный. Тем, которые читают: monsieur du Corbeau, придется немало потратить труда, прежде чем они объяснят эту частицу du ³¹.

Que vous êtes joli! que vous me semblez beau! ³²

Лишние слова, бесполезное многословие. Ребенок, видя повторение одного и того же в разных выражениях, научается размазывать речь. Если вы скажете, что в этом многословии высказывается искусство автора, что оно входит в планы лисицы, которая хочет многословием как бы умножить похвалы, то эта отговорка будет хороша для меня, но не для моего воспитанника.

Sans mentir, si votre ramage...³³

Sans mentir! Значит, иногда и лгут? Что подумает ребенок, если вы сообщите ему, что лиса потому только и говорит: sans mentir, что лжет?

Répondoit à votre plumage³⁴...

Répondoit! Что значит это слово? Попробуйте научить ребенка сравнивать столь разнородные качества, как голос и оперенье, и вы увидите, как он поймет вас.

Vous seriez le phénix des hôtes de ces bois ³⁵.

Le phénix — «феникс»! Что такое феникс? Вот мы сразу очутились в лживой древности, почти в мифологии.

Des hôtes de ces bois! Какая фигурная речь! Лстец облагораживает свой язык и придает ему больше достоинства, чтобы сделать его более

обольстительным. Поймет ли ребенок эту тонкость? знает ли он, может ли знать, что такое высокий стиль и низкий стиль?

A ces mots, le corbeau ne se sent pas de joie ³⁶

Нужно испытать предварительно очень сильные страсти, чтобы чувствовать смысл этого ходячего, как пословица, выражения.

Et, pour montrer sa belle voix... ³⁷

Не забудьте, что для понимания этого стиха и всей басни ребенок должен знать, что такое «прекрасный голос» ворона.

Il ouvre un large bec, laisse tomber sa proie ³⁸.

Стих — удивительный: одна гармония его дает уже картину. Я вижу большой, гладкий открытый клюв, слышу, как падает сыр между ветвей; но все эти красоты пропали для ребенка.

Le renard s'en saisit, et dit: Mon bon monsieur ³⁹,

Вот доброта, превращенная уже в глупость. Нечего сказать, не теряют времени поучать детей.

Apprenez que tout flatteur... ⁴⁰

Общее правило; мы уже потерялись.

Vit aux dépens de celui qui l'écoute ⁴¹.

Никогда десятилетний ребенок не понимал еще этого стиха.

Cette leçon vaut bien un fromage, sans doute ⁴².

Это понятно, и мысль очень хороша. Однако очень мало еще найдется детей, которые сумели бы сравнить урок с сыром и не предпочли бы сыр уроку. Нужно, значит, дать им понять, что этот намек — только насмешка. Сколько тонкостей для ребенка!

Le corbeau, honteux et confus ⁴³,

Опять излишество; но это уже не извинительно.

Jura, mais un peu tard, qu'on ne l'y prendrait plus ⁴⁴.

Жура! Какой глупец учитель осмелится объяснить ребенку, что такое клятва?

Вот сколько подробностей! А все-таки их гораздо меньше, чем нужно было бы для разбора всех мыслей этой басни и для сведения их к простым и элементарным идеям, из которых каждая мысль составлена. Но кто убежден в необходимости такого анализа для того, чтобы сделать себя понятным для детей? Никто из нас не является

настолько философом, чтоб уметь поставить себя на место ребенка. Перейдем теперь к морали.

Я спрашиваю: нужно ли шестилетних детей учить тому, что есть люди, которые льстят и лгут из-за своей выгоды? Совершенно достаточно было бы научить их тому, что есть такие насмешники, которые высмеивают мальчуганов и втайне издеваются над их глупым чванством; но сыр портит все дело: детей учат не столько не ронять его из собственного клюва, сколько стараться выронить его из чужого клюва. Это мой второй парадокс, но он не менее важен.

Следите за детьми, которые учат басни, и вы увидите, что когда они могут сделать применение, то почти всегда делают применение, противоположное намерениям автора, и вместо того, чтоб остерегаться недостатка, от которого их хотят исправить или предохранить, скорее склонны полюбить порок, с помощью которого можно извлекать выгоду из чужих недостатков. В предыдущей басне дети смеются над вороном, но они симпатизируют все лисице; в следующей басне⁴⁵ вы воображаете, что ставите им в образец стрекозу; ничуть не бывало: они выберут муравья. Никто не любит унижаться: они всегда выберут красивую роль; это выбор самолюбия, выбор вполне естественный. А между тем какой ужасный урок для детей! Самым ненавистным из всех чудовищ был бы жадный и жестокий ребенок, который знал бы цену того, что у него просят и в чем он отказывает. Муравей делает больше: он научает ребенка издеваться при отказе.

Во всех баснях, где одним из действующих лиц является лев, ребенок не преминет взять роль льва, так как она обыкновенно самая блестящая; а когда он распоряжается каким-нибудь дележом⁴⁶, то, хорошо наученный своим образцом, всячески постарается завладеть всем. Другое дело, когда комар поражает льва⁴⁷: тут ребенок уже не лев, он — комар. Он учится убивать со временем жалом тех, на кого не осмелился бы напасть твердою рукой.

Из басни о чахлом волке и жирной собаке вместо примера умеренности, который претендуют ему предоставить, он извлекает урок своеволия⁴⁸. Никогда не забуду я, как горько плакала одна маленькая девочка, которую привели в отчаяние этой басней, постоянно проповедуя ей о послушании. Немало трудились, чтоб узнать причину ее слез; наконец узнали. Бедный ребенок скучал на привязи, он чувствовал, как цепь трет ему кожу на шее; он плакал о том, что он не волк.

Итак, мораль первой из приведенных басен учит ребенка самой низкой лести, мораль второй учит бесчеловечности, третья басня учит несправедливости, четвертая — насмешке, пятая дает урок независимости. Этот последний урок, излишний для моего воспита-

ника, не более годен и для ваших. Если вы дадите им противоречивые наставления, какого же плода вы ожидаете от своих попечений? Но, может быть, за исключением этого, в той же морали, которая дает мне повод возражать против басен, можно найти немало доводов и в пользу сохранения их. В обществе на словах нужна одна мораль, для дела другая, и эти две морали вовсе не похожи друг на друга. Первая — в катехизисе, где ее и оставляют; вторая — для детей в баснях Лафонтена, для матерей в его сказках⁴⁹. Одного автора хватает на всех.

Уладим дело, господин Лафонтен! Я со своей стороны обещаю читать вас с выбором, любить вас, учиться на ваших баснях, ибо я надеюсь не ошибиться насчет их содержания; что же касается моего воспитанника, то позвольте не давать ему учить ни одной из них до тех пор, пока вы мне не докажете, что ему полезно заучивать вещи, в которых он не поймет и четвертой доли, что в тех, которые он может понять, он никогда не вдастся в обман и что он не станет учиться, глядя на плута, вместо того чтобы исправляться, глядя на жертву обмана.

Устраняя таким образом все обязанности детей, я устраняю и орудия, причиняющие им наибольшее горе, — именно книги. Чтение — бич детства, и почти единственное занятие, которое умеют дать им. Эмиль в двенадцать лет едва ли будет знать, что такое книга. Нужно же по крайней мере, скажут мне, чтоб он умел читать. Согласен: нужно, чтобы он умел читать, когда чтение ему полезно; до этой же поры оно годится лишь на то, чтобы надоедать.

Если ничего не должно требовать от детей ради послушания, то отсюда следует, что нельзя учить их ничему такому, в чем они не видят действительного и непосредственного интереса для себя — удовольствия или пользы; иначе, какой мотив побудит их учиться? Искусство говорить с отсутствующими и слушать их, искусство делиться с ними издалика, без посредника, своими чувствами, желаниями и помыслами — это такое искусство, полезность которого может быть ощутительной для каждого возраста. Каким же чудом это столь полезное и приятное искусство стало мукой для детей? Причина та, что их принуждают заниматься им против желания и делают из него такое употребление, в котором дети ничего не понимают. Ребенок не очень заинтересован в том, чтобы совершенствовать орудие, которым его мучат; но сделайте так, чтоб это орудие служило для его удовольствий, и он скоро будет заниматься помимо вашего старания.

Немало хлопочут найти лучшие методы для обучения чтению: придумывают конторки, карточки; комнату ребенка превращают

в мастерскую типографии. Локк хочет, чтобы ребенок учился читать по игральным костям⁵⁰. Не правда ли, какое прекрасное изобретение? Какая жалость к ребенку! Но есть средство более верное, чем все это, средство, о котором всегда забывают; это — желание учиться. Внушите ребенку это желание и затем оставьте в покое ваши конторки и игральные кости — всякая метода будет хороша для него.

Непосредственный интерес — вот великий двигатель, единственный, который ведет верно и далеко. Эмиль получает иной раз от отца, родных или друзей записки с приглашением на обед, прогулку, катанье на лодке, с приглашением посмотреть какой-нибудь общественный праздник. Записки эти короткие, ясны, отчетливо и хорошо написаны. Нужно найти кого-нибудь, кто бы прочел их; такого человека не всегда найдешь в данное время или он мало склонен к услуге за вчерашнюю услужливость ребенка. Таким образом, случай, момент проходит. Наконец, ему читают записку, но уже поздно. Ах, если б он сам умел читать! Получают еще записки: они так короткие! содержание так интересует! Хотелось бы попробовать разобрать их; другие то помогают, то отказывают. Ребенок напрягает силы, наконец, разбирает половину записки: дело идет о том, что завтра предстоит есть крем... Но где и с кем? Сколько тратится усилий, чтобы прочитать и остальное! Я не думаю, чтоб Эмилю понадобилась конторка. Стоит ли говорить теперь о письме? Нет, мне стыдно пробавляться пустяками в трактате о воспитании.

Прибавлю только одно замечание, которое является важным правилом: чего не торопятся добиться, того добиваются обыкновенно наверняка и очень быстро. Я почти уверен, что Эмиль до десятилетнего возраста отлично научится читать и писать именно потому, что для меня совершенно все равно, научится он этому до пятнадцати лет или нет; но я лучше хотел бы, чтоб он никогда не умел читать, лишь бы не покупать этого умения ценою всего того, благодаря чему самое умение становится полезным; к чему послужит ребенку чтение, если у него навсегда отобьют охоту к нему? *Id in primis cavere oportebit, ne studia, qui amare nondum poterit, oderit, et amaritudinem semel perceptam etiam ultra rudes annos reformidet* *⁵¹.

Чем больше я настаиваю на своей бездеятельной методе, тем больше чувствую, как растут возражения. Если воспитанник ваш ничему не учится у вас, он научится от других. Если вы не предупреждаете заблуждения открытием истины, он научится лжи; предрассудками, которые вы боитесь вселить в него, он будет заражаться от всего окружающего; они будут входить в него через все его чув-

* Quintil[ian].L. I, c. 1.

ства; они извратят его разум даже прежде, чем он разовьется, или же дух его, притупившись от долгого бездействия, погрязнет в материи. Непривычка думать в детстве отнимает эту способность и на всю остальную жизнь.

Мне кажется, я мог бы легко ответить на это; но к чему эти постоянные ответы? Если моя метода сама за себя отвечает на возражения, она хороша; если нет, она ничего не стоит. Я продолжаю.

Если, соображаясь с планом, который я начал начертывать, вы будете держаться правил, прямо противоположных тем, которые установлены, если вместо того, чтобы вести вдаль ум вашего воспитанника и заставлять его вечно блуждать в других местностях, в других климатах, в других веках, на краях земли и даже в небесах, вы постараетесь держать его всегда в самом себе и сделать внимательным к тому, что непосредственно его касается, то вы найдете его способным и к восприятию, и к памяти, и даже к рассуждению; это естественный закон. По мере того как чувствующее существо становится деятельным, оно приобретает способность суждения, пропорциональную своим силам; и только при силе, превышающей ту, которая потребна ему для самосохранения, развивается в нем умозрительная способность, могущая употреблять этот избыток силы на другие цели. Поэтому, если хотите развить ум вашего воспитанника, развивайте силы, которыми ум должен управлять. Упражняйте непрерывно его тело; сделайте его крепким и здоровым, чтобы сделать мудрым и рассудительным; пусть он работает, действует, бегаёт, кричит, пусть он всегда будет в движении: пусть он будет взрослым по крепости, и он скоро будет взрослым по разуму.

Правда, и с этой методой вы сделали бы его тупицей, если бы вечно ходили за ним, направляя его, вечно ему говорили: иди туда, иди сюда, стой, делай это, не делай того. Если ваша голова управляет его руками, то его голова становится для него бесполезной. Но помните наши условия: если вы только педант, то вам не стоит труда и читать меня.

Жалкое заблуждение — воображать, что телесные упражнения вредят умственным занятиям! Как будто эти два дела не должны идти рядом, как будто одним не должно всегда направляться другое!

Есть два сорта людей, тело которых в постоянном упражнении и которые, наверное, одинаково мало заботятся о развитии своей души: я говорю о крестьянах и дикарях. Первые грубы, непонятливы, неловки; вторые известны большой смысленостью и еще известнее хитростью ума своего; вообще нет ничего тупее крестьянина и лукавее дикаря. Отчего происходит эта разница? Оттого, что первый, вечно делая, что приказывают, что делал отец его или что сам он делал с

юности, никогда не отступает от рутины; среди своей почти автоматической жизни он постоянно занят одними и теми же работами, поэтому привычка и послушание заменяют для него разум.

Другое дело — дикарь: не будучи привязан к одному месту, не имея никакой заданной работы, никому не повинаясь, не признавая иного закона, кроме своей воли, он принужден при каждом поступке в своей жизни рассуждать; он не делает ни одного движения, ни одного шага, не рассмотрев предварительно последствий. Таким образом, чем более упражняется его тело, тем больше просвещается его ум; сила и разум растут у него вместе и расширяют друг друга.

Ученый наставник! посмотрим, который из наших воспитанников походит на дикаря и который на крестьянина. Ваш, во всем подчиненный вечно поучающей власти, ничего не делает иначе, как по приказу; он не смеет есть, когда голоден, смеяться, когда весел, плакать, когда печален, не смеет подать одну руку вместо другой, не смеет передвинуть ногу не так, как ему предписано; скоро он не посмеет и дышать не по вашим правилам. Для чего вы хотите, чтоб он думал, если вы обо всем думаете за него? Для чего ему нужна предусмотрительность, если он уверен в вашей? Видя, что вы берете на себя попечение о сохранении и благополучии, он чувствует себя освобожденным от этих забот; рассудок его полагается на ваш рассудок; он без размышления делает все, чего вы не запрещаете ему, хорошо зная, что ничем не рискует. К чему ему учиться предугадывать дождь? Он знает, что вы за него смотрите на небо. Зачем ему выбирать время для прогулок? Он знает, что вы не дадите ему пропустить час обеда. Пока вы не запрещаете есть, он ест: он уже слушается не голоса своего желудка, а вашего голоса. Сколько бы вы ни изнеживали его тела бездействием, вы не делаете его разума более гибким. Напротив, вы окончательно ропяете в его глазах разум, заставляя расходовать небольшой наличный запас его на такие вещи, которые кажутся ему самыми бесполезными. Не видя, на что годен разум, он наконец решает, что он ни на что не годен. Когда он дурно рассуждает, его останавливают, — вот наибольшая беда, которая может с ним случиться; а это бывает так часто, что он почти не думает об этом; опасность столь привычная уже не пугает его.

Вы, однако, находите в нем ум; у него есть ум на то, чтобы болтать с женщинами тоном, о котором я уже говорил; но, если ему случится отвечать самому за себя, если придется принять решение в каком-нибудь затруднительном обстоятельстве, вы увидите, что он во сто раз глупее и тупоумнее сына самого простого мужика.

Что касается моего питомца, или, скорее, питомца природы, то, приучаемый с ранних пор обходиться, насколько возможно, своими

средствами, он не привык беспрестанно обращаться к другим за помощью, а тем более выставять перед ними свои великие познания. Зато он судит, предусматривает, рассуждает во всем, что касается его непосредственно. Он не пускается в болтовню, он действует; он не знает ни слова о том, что делается в свете, но он отлично умеет делать то, что ему следует. Так как он беспрестанно в движении, то он вынужден наблюдать много вещей, знакомиться со множеством действий; он с ранних пор приобретает большую опытность; он берет уроки у природы, а не у людей; он научается тем лучше, что нигде не видит намерения научить его. Таким образом, тело его и ум упражняются разом. Действуя всегда по своей мысли, а не по мысли другого, он непрерывно соединяет две операции — мысль и действие; чем сильнее и крепче, тем умнее и рассудительнее делается он. Вот средства иметь со временем то, что считается непримиримым, но что, однако, соединили в себе почти все великие люди, — силу тела и силу души, разум мудреца и крепость атлета.

Молодые наставники! я вам проповедую трудное искусство — управлять без предписаний, делать все, ничего не делая. Искусство это, сознаюсь, не по летам вам; оно не пригодно на то, чтобы с первого же раза блеснуть вам перед отцами своими талантами или похвастать небывалыми качествами; но оно одно способно вести к успеху. Вам не удастся никогда создать мудрецов, если вы не создадите сначала шалунов. Таково было воспитание спартанцев: вместо того чтобы прилеплять их к книгам, их прежде всего учили воровать обед. А были ли спартанцы вследствие этого тупоумными, когда становились взрослыми? Кому не известна сила и меткость их возражений? Всегда готовые побеждать, они уничтожали своих врагов во всякого рода войне, и болтуны-афиняне ~~а~~ только же боялись их языка, сколько ударов.

При самом тщательном воспитании учитель приказывает и воображает, что управляет; в действительности же управляет ребенок. С помощью того, что вы требуете от него, он добивается от вас того, что ему нравится, и всегда умеет заставить вас за час усердия заплатить ему недель снисходительности. Каждую минуту приходится с ним договариваться. Договоры эти, которые вы предлагаете на свой манер, а он выполняет на свой, всегда обращаются в пользу его прихотей, особенно если вы имели неосторожность, на его счастье, поставить в условиях такую вещь, которой он вполне надеется добиться и помимо условий, налагаемых на него. Ребенок обыкновенно гораздо лучше читает в уме учителя, чем учитель в сердце ребенка. Да это так и должно быть; ибо всю смысленность, которую ребенок, предоставленный самому себе, употребил бы на заботы о

своем самосохранении, он употребляет на то, чтобы спасти свою природную свободу от цепей своего тирана, тогда как последний, не имея никакой настоящей нужды разгадывать ребенка, находит иной раз для себя выгодным дать волю его лени или тщеславию.

Изберите с вашим воспитанником путь противоположный; пусть он считает себя господином, а на деле вы будьте сами всегда господином. Нет подчинения столь совершенного, как то, которое сохраняет наружный вид свободы; тут поработщают самую волю. Разве бедный ребенок, который ничего не знает, ничего не может сделать, ни с чем не знаком, не в вашей власти? Разве вы не располагаете по отношению к нему всем окружающим? Разве вы не властны производить на него какое вам угодно влияние? Разве его занятия, игры, удовольствия, горести не в ваших руках, даже без его ведома? Конечно, он должен делать только то, что хочет; но он должен хотеть только того, чего вы от него хотите; он не должен делать ни одного не предусмотренного вами шага; не должен открывать рта, если вы не знаете, что он скажет.

Тогда только он может предаваться телесным упражнениям, потребным для его возраста, и не притуплять при этом ума; тогда только вместо того, чтобы изощрять свою хитрость в увертках от нестерпимой для него власти, он будет занят единственно тем, чтоб извлекать из всего окружающего как можно больше пользы для своего настоящего благополучия; тогда именно вы будете изумлены тонкостью его изобретательности для присвоения себе всего, чего он может добиться, и для истинного пользования жизнью, независимо от условных понятий.

Оставляя его таким образом господином своей воли, вы не станете вызывать его на капризы. Не чувствуя, что поступает так, как следует, он скоро будет делать только то, что должен делать; и хотя бы тело его находилось в постоянном движении, вы увидите, что и все силы разума, ему доступные, пока дело будет касаться настоящей и видимой выгоды, будут развиваться гораздо лучше и гораздо целесообразнее, чем при занятиях чисто умозрительных.

Таким образом, не видя в вас стремления противоречить ему, не питая к вам недоверия, не имея ничего такого, что нужно скрывать от вас, он не станет вас и обманывать, не станет лгать вам; он явится таким, каким бывает, когда не чувствует страха; вам можно будет изучать его на полной свободе, и, какие бы вы ни хотели дать ему уроки, вы можете обставить их так, чтоб он никогда не догадывался, что получает уроки.

Он не станет уже с любопытною ревностью подсматривать за вашими нравами и не будет испытывать тайного удовольствия при

виде ваших промахов. Неудобство, предупреждаемое этим, довольно велико. Одну из первых забот у детей составляет, как я сказал, открытие слабой стороны у тех, кто ими руководит. Склонность эта ведет к злобе, но не от нее происходит: она является следствием потребности ускользнуть от докучливой власти. Изнемогая под тяжестью налагаемого на них ига, дети стараются сбросить его; а недостатки, замечаемые ими в наставниках, дают им лучшие средства для этого. В то же время зарождается привычка примечать людей по их недостаткам и находить удовольствие в открытии последних. Ясно, что этим путем мы заграждаем еще один источник пороков в сердце Эмиля; не имея никакого интереса находить во мне недостатки, он не станет и искать их во мне; ему не особенно захочется искать их и в других.

Все эти приемы кажутся трудными, потому что не решаются их применить; но в сущности они не должны быть трудными. Мы вправе предполагать в вас сведения, необходимые для того ремесла, которое вы избрали; мы должны ожидать, что вам знакомо естественное развитие человеческого сердца, что вы умеете изучать человека и личность, что вы наперед знаете, к чему склонится воля нашего питомца при виде всех тех предметов, интересных для его возраста, которые вы будете выставлять перед его глазами. А иметь орудия и хорошо знать их употребление — разве не значит быть мастером своего дела?

Вы в ответ ссылаетесь на капризы ребенка; но вы не правы. Каприз детей — это не дело природы; это дело дурного воспитания; это значит, что они повиновались или приказывали; а я сто раз повторял, что не нужно ни того, ни другого. У вашего воспитанника, значит, будут только те капризы, которым вы его научите; справедливость требует, чтобы вы несли сами и наказание за свои ошибки. Но как, скажете вы, исправить их? Это возможно еще при лучшем образе действия и при большом терпении.

Поручили мне на несколько недель ребенка ⁵², который привык не только делать все по своему произволу, но вдобавок заставлял всех исполнять свою волю и, следовательно, был преисполнен прихотями. В первые же сутки, чтоб испытать мою снисходительность, он захотел встать в полночь. Во время самого глубокого сна моего он соскакивает с постели, надевает халат и зовет меня. Я встаю, зажигаю свечу; ему только этого и хотелось. Через четверть часа его начинает клонить сон, и он снова ложится, довольный своим опытом. Два дня спустя он повторяет его с таким же успехом и без малейшего знака нетерпения с моей стороны. Когда он обнимал меня, снова ложась спать, я сказал ему совершенно серьезно: «Дружок мой, все это прекрасно, но не делайте больше этого». Эти слова под-

стрекнули его любопытство, и на следующий же день, желая посмотреть, как я осмелюсь не слушаться его, он не приминул встать в том же самом часу и позвать меня. Я спросил, что́ ему нужно. Он сказал, что не может спать. «Тем хуже», — возразил я, не трогаясь с места. Он попросил меня зажечь свечу. «Зачем?» — сказал я, не трогаясь с места. Лаконичный тон начал смущать его. Он принялся ощупью отыскивать огниво и стал высекать огонь; я не мог удержаться от смеха, слыша, как он ударяет себя по пальцам. Наконец, убедившись, что этого ему не сделать, он поднес огниво к моей постели; я сказал, что мне его не нужно, и повернулся на другой бок. Тогда он принялся бегать опрометью по комнате, с криком и пеннем, производя большой шум и ударяясь о стол и стулья; но он очень старательно умерял эти удары, хотя не переставал при каждом очень сильно кричать, надеясь причинить мне беспокойство. Все это пропадало даром, и я видел, что, рассчитывая на красноречивые увещания или гнев, он никак не мог помириться с таким полным хладнокровием.

Однако, решившись упорством победить мое терпение, он продолжал свою возню с таким успехом, что я, наконец, разгорячился; но, предчувствуя, что испорчу все дело неуместною вспыльчивостью, я принял другое решение. Ничего не говоря, я встал, пошел за огнивом, но не нашел его; я спрашиваю его у ребенка; тот подает мне, тренеца от радости, что, наконец, восторжествовал надо мной. Я высекаю огонь, зажигаю свечу, беру за руку мальчугана и спокойно отвожу его в соседний кабинет, где ставни были плотно закрыты и где нечего было разбивать, и оставляю его там впотьмах; затем, заперев за ним дверь на ключ, снова ложусь, не промолвив с ним ни слова. Нечего и говорить, что сначала он поднял шум; но я этого ожидал и нимало не смутился. Наконец, шум стихает; я прислушиваюсь; слышу, что ребенок укладывается, я успокаиваюсь. На другой день утром вхожу в кабинет и вижу, что мой маленький упрямец лежит на диване и спит глубоким сном, в котором после такой усталости, очевидно, очень нуждался.

Дело этим не кончилось. Мать узнает, что ребенок провел две трети ночи вне постели. Все сразу пропало! Ребенок, думают, при смерти. Видя удобный случай отомстить, он притворяется больным, не предвидя, что ничего этим не выиграет. Зовут врача. К несчастью для матери, врач оказывается шутиком, который, чтобы позабавиться ее ужасами, постарался усилить их. Между тем он шепчет мне на ухо: «Предоставьте дело мне; я обещаю вам в короткое время вылечить ребенка от фантазии быть больным». Действительно, была предписана диета, ребенку велено оставаться в комнате и принимать лекарства. Я вздыхал, видя, как бедная мать была вводима

в обман всем окружающим, кроме меня одного, которого она возненавидела именно потому, что я ее не обманывал.

После довольно жестоких упреков она сказала мне, что сын нежного телосложения, что он единственный наследник семейства, что его во что бы то ни стало нужно беречь и что она не желает, чтоб я дразнил его. В последнем я был совершенно согласен с нею, но под словом «дразнить» она разумела: «не во всем его слушаться». Я увидел, что по отношению к матери нужно принять такой же тон, как и по отношению к ребенку. «Сударыня, — сказал я ей довольно холодно, — я не знаю, как воспитывать наследника, а главное — и не хочу этого знать; вы можете принять это к сведению». Во мне нуждались еще некоторое время; отец уладил все; мать написала наставнику, чтоб он поторопился вернуться, а ребенок, видя, что ничего не выигрывает, если мешает мне спать или притворяется больным, сам, наконец, решил спать и чувствовать себя здоровым.

Можно представить, сколько подобных капризов вытерпел от маленького тирана его несчастный гувернер; ибо воспитание производилось на глазах матери, которая не терпела, чтобы наследнику выказывали в чем-нибудь послушание. В каком бы часу он ни захотел выйти из дому, приходилось быть готовым вести его или, скорее, следовать за ним, а он всегда старался выбрать такой момент, когда видел гувернера наиболее занятым. Он вздумал и надо мной проявить такую же власть и днем отомстить за покой, который поневоле давал мне ночью. Я готов был на все и начал с того, что заставил его увериться собственными глазами, с каким удовольствием я делаю приятное ему; затем, когда вопрос зашел о том, чтобы вылечить его от капризов, я взялся за дело иначе.

Прежде всего нужно было довести его до сознания своей вины; это не было трудно. Зная, что дети думают только о настоящем, я легко одержал над ним верх предусмотрительностью; я озаботился доставить ему дома занятие, которое, как я знал, ему было очень по вкусу, и в тот момент, когда он был наиболее увлечен им, предложил ему пойти погулять; он наотрез отказался; я настаивал, он не слушал: мне пришлось сдаться, и он отлично подметил этот признак подчинения.

На следующий день была моя очередь. Он скучал — я заранее так устроил дело; я, напротив, казался очень занятым. Этого было совершенно достаточно, чтобы заставить его решиться. Он не преминул подойти с целью оторвать меня от работы, чтобы вести его скорее гулять. Я отказался; он упорствовал. «Нет, — сказал я, — исполняя свою волю, вы научили и меня тому же; я не хочу идти гулять». —

«Ну, хорошо! — с живостью возразил он. — Я пойду один». — «Как хотите». И я опять принялся за работу.

Он одевается, несколько обеспокоенный тем, что я позволял ему это делать и сам не делал того же. Готовый выйти, он приходит проститься; я прощаюсь; он старается напугать меня рассказом о путешествиях, которые намерен сделать; слушая его, можно было подумать, что он идет на край света. Несколько не волнуясь, я пожелал ему счастливого пути. Смущение его удваивается. Однако он принимает бодрый вид и, собираясь уходить, велит своему лакею следовать за ним. Лакей, предупрежденный заранее, отвечает, что ему некогда, что он занят исполнением моих приказаний и должен повиноваться скорее мне, чем ему. На этот раз ребенок теряется. Как понять, что ему позволяют выходить одному, ему, который считает себя таким важным для всех прочих существом и думает, что небеса и земля озабочены его сохранением? Однако он начинает чувствовать свою слабость; он понимает, что очутится один среди незнакомых людей; он заранее видит опасности, которым подвергается; одно упрямство пока еще поддерживает его; он медленно сходит с лестницы в большом смущении. Наконец, он выходит на улицу, утешаясь несколько надеждою, что за беду, которая может с ним случиться, отвечать буду я.

Этого я и ждал. Все было подготовлено заранее; а так как дело шло о публичной, так сказать, сцене, то я запасся согласием отца. Едва он сделал несколько шагов, как слышит направо и налево различные замечания на свой счет. — «Братцы, смотрите, какой красивый барчук! Куда это он идет один? Он заблудится; попросить его разве зайти к нам?» — «Берегись, соседка! Разве ты не видишь, что это маленький своевольник? Его, видно, прогнали из отцовского дома за то, что он не хотел быть путным. Не следует пускать к себе таких шалунов; пускай идет, куда хочет». — «Ну что же! Бог с ним! Как бы только не приключилось с ним беды!» Немного дальше он встречает шалунов, одних почти с ним лет; они его дразнят и смеются над ним. Чем дальше, тем больше затруднений. Один, без защиты, он видит себя игрушкой для всех и чувствует с немалым изумлением, что его бант на плече и золотые обшлага не внушают уже к нему уважения.

Между тем один из моих друзей, которого он не знал и которому я поручил наблюдать за ним, следил за ним шаг за шагом, незаметно для него, и подошел, когда пришло время. Для этой роли, похожей на роль Сбригани в «Пурсоньяке»⁵³, требовался человек умный, и она исполнена была превосходно. Не запугивая ребенка излишним выставлением всего ужаса его поступка, он так хорошо дал ему почув-

ствовать безрассудство его выходки, что через полчаса привел его ко мне покорным, сконфуженным и не смевшим поднять глаз.

К довершению бедствий его путешествия, в ту самую минуту, как он возвращался, выходит из дому отец, встретивший его на лестнице. Пришлось сказать, откуда он шел и почему меня не было с ним *. Бедный ребенок желал бы провалиться сквозь землю. Не находя ничего приятного в продолжительных выговорах, отец сказал ему с большею сухостью, нежели я ожидал бы: «Когда ты захочешь выйти один, ты властен сделать это; но так как я не хочу иметь в доме бродягу, то в подобном случае постарайся не возвращаться больше сюда».

Что касается меня, то я встретил его без упреков и без насмешек, но несколько сурово и, боясь, чтоб он не заподозрил во всем случившемся простую шутку, не хотел вести его в этот день гулять. На следующий день я с большим удовольствием увидел, что он с торжеством проходил со мной мимо тех людей, которые накануне смеялись над ним, встретив его одного. Понятно, что после этого он уже не грозил мне, что уйдет без меня.

Подобными средствами в течение короткого времени, пока я был с ним, мне удалось заставить его делать все, что я хотел, ничего не приказывая и ничего не запрещая ему, без правоучений, без увещаний, без надоедания бесполезными уроками. Зато, когда я говорил, он был доволен; но молчание мое держало его в страхе: он понимал, что что-нибудь неладно, и всегда урок получал не от меня, а от самой вещи. Но возвратимся назад.

Эти постоянные упражнения, предоставленные таким образом руководству одной природы, укрепляя тело, не только не притупляют ум, но, напротив, развивают в нас тот вид разума, который единственно доступен для первого возраста и больше всего необходим для какого бы то ни было возраста. Они дают нам умение пользоваться своими силами, распознавать отношение нашего тела к телам окружающим, пользоваться естественными орудиями, которые в нашей власти и пригодны для наших органов. Что можно сравнить с глупостью ребенка, которого воспитывали вечно в комнате и на глазах матери и который, не зная, что такое тяжесть и сопротивление, хочет вырвать огромное дерево или поднять скалу? Когда я первый раз вышел из Женевы, я хотел догнать скакавшую лошадь и кидал камни в гору Салев, которая была в двух милях от меня;

* В подобном случае можно без риска требовать от ребенка правды; ибо он тогда хорошо знает, что не сумеет скрыть ее и что если осмелится сказать ложь, то сейчас же будет уличен.

я был посмешищем для всех детей деревни и казался им настоящим идиотом. Лет в восемнадцать мы узнаем из философии⁶⁴, что такое рычаг; а в деревне нет такого двенадцатилетнего малыша, который не умел бы пользоваться рычагом лучше первого механика академии. Уроки, полученные школьниками друг от друга на дворе училища, в сто раз полезнее всего того, что скажут им когда-либо в классе.

Посмотрите, как кошка в первый раз входит в комнату: она осматривается, оглядывается, обнюхивает, она ни минуты не остается в покое, ничему не доверяет, пока не рассмотрит всего, не разузнает всего. Так же поступает и ребенок, начинающий ходить и вступающий, так сказать, в свет. Вся разница в том, что к зрению, которым обладает и ребенок и кошка, первый присоединяет при наблюдении руки, данные ему природой, а вторая — тонкое чутье, которым она одарена. Эта именно способность, смотря по тому, хорошо или дурно она развита, и делает детей ловкими или неуклюжими, неповоротливыми или проворными, ветреными или осторожными.

Так как первые естественные движения человека проявляются в желании помериться со всем окружающим и испытать в каждом видимом предмете все осязаемые свойства, которые могут в нем быть, то первая наука ребенка — это род экспериментальной физики, относящейся к его самосохранению, а его отвлекают занятиями умозрительными, даже прежде чем он разузнает свое место в здешнем мире. Пока его органы, нежные и гибкие, могут принаравливаться к телам, на которые они должны действовать, пока чувства его еще чисты и не знают обмана, в это самое время и нужно упражнять те и другие в свойственных им функциях; тут-то и нужно учиться распознавать чувственно воспринимаемые отношения, существующие между нами и вещами. Так как все проникающее в человеческий разум идет туда путем чувства, то первая стадия в развитии разума — это разумение чувственное; оно и служит основанием для разумения умственного: первые наши учителя философии — это наши ноги, руки, глаза. Заменить все это книгами не значит учить нас рассуждать; это значит учить нас пользоваться чужим разумом, учить нас много верить и ничего никогда не знать.

Для упражнения в искусстве нужно прежде всего добыть орудия; а чтобы эти орудия употреблять с пользою, их нужно сделать достаточно прочными, так, чтобы они могли выдержать работу. Чтобы научиться думать, нужно, значит, упражнять свои члены, свои чувства, свои органы, которые служат орудием нашего разума; а чтобы извлечь из этих орудий всю возможную пользу, нужно, чтобы тело, снабжающее ими, было крепко и здорово. Таким образом, никак нельзя сказать, что истинный разум человека формируется не-

зависимо от тела; напротив, хорошее телосложение и делает умственные процессы легкими и верными.

Указывая, на что следует употреблять продолжительную праздность детства, я вхожу в подробности, которые покажутся смешными. Забавные уроки! Скажут мне: ведь они, по вашему же собственному отзыву, ограничиваются тем, учиться чему никто не имеет нужды. Зачем тратить время на приобретение познаний, которые приходят всегда сами собой и не стоят ни труда, ни забот? Какой двенадцатилетний ребенок не знает всего того, чему вы хотите учить вашего и чему, вдобавок, научили его учителя?

Господа, вы ошибаетесь: я преподаю своему воспитаннику искусство очень обширное, очень трудное, вам, конечно, неизвестное, — искусство быть невеждой; ибо наука того, кто думает, что он знает лишь то, что в действительности знает, сводится к немногому. Вы даете науку — в добрый час! Я готовлю орудие, пригодное для ее приобретения. Говорят, что раз, когда венецианцы с большим торжеством показывали испанскому посланнику свои сокровища в С.-Марко, последний, вместо всякой любезности, посмотрев под столы, сказал им: «*Qui non s'e la radice*» ⁵⁵. Когда я вижу наставника, выставяющего напоказ знания своего ученика, мне всегда хочется сказать то же самое.

Все, размышлявшие об образе жизни древних, приписывают гимнастическим упражнениям ту телесную и душевную крепость, которая очень заметно отличает их от людей нового времени. Способ, которым Монтень ⁵⁶ подкрепляет это мнение, показывает, что он и сам был глубоко проникнут этими мыслями: он беспрестанно и на тысячу ладов возвращается к нему. Говоря о воспитании ребенка, он замечает: чтобы укрепить его душу, нужно закалить его мускулы; приучая его к труду, мы приучаем к боли; следует приучать его к неприятности упражнений, чтобы научить терпеть неприятности вывиха, колики и всяких страданий. Мудрый Локк, добрый Роллен ⁵⁷, ученый Флери ⁵⁸, педант де Круза ⁵⁹, писатели, столь различные между собой во всем остальном, сходятся в одном этом пункте, что нужно много упражнять тело ребенка. Это самое разумное из их правил; оно-то именно находится и будет находиться в наибольшем пренебрежении. Я уже достаточно говорил о его важности; а так как нельзя привести лучших оснований и более обдуманых наставлений, чем те, которые мы находим в книге Локка, то я ограничусь простой ссылкой на нее, взяв на себя смелость прибавить к его наблюдениям несколько своих.

Тело растет, поэтому всем членам нужно дать в одежде простор; ничто не должно стеснять ни их движения, ни роста; ничего не надо

слишком узкого, ничего такого, что плотно облегает тело, никаких перевязок. Французская одежда, стеснительная и вредная для здоровья взрослых, особенно губительна для детей. Остановленные в своем обращении, соки застаиваются при покое, который увеличивается от недействительной и сидячей жизни, портятся и причиняют скорбь — болезнь, со дня на день распространяющуюся среди нас и почти неизвестную древним, которых предохранял от нее их способ одеваться и образ жизни. Гусарский костюм, вместо того чтобы устранить это неудобство, увеличивает его⁶⁰: избавляя детей от некоторых перевязок, он зато жмет всюду тело. Лучше всего держать детей, пока можно, в курточке, а затем одевать их в очень широкое платье и не гоняться за тем, чтобы оно обрисовывало их талию, ибо это только уродует ее. Их телесные и умственные недостатки происходят почти все от одной и той же причины: их хотят преждевременно сделать взрослыми.

Есть цвета веселые и цвета мрачные; первые более нравятся детям; они и идут к ним больше. Я не вижу, почему бы не соображаться в этом случае с удобствами, столь естественными; но лишь только они начнут предпочитать ту или иную материю потому именно, что она богата, сердца их уже заражены роскошью, они уже преданы всем прихотям моды; а вкус этот является у них, разумеется, не сам собой. Трудно даже рассказать, сколь влияет на воспитание выбор одежды и мотивы этого выбора. Мало того, что ослепленные матери обещают своим детям наряды в виде награды; мы видим даже, как иные безумные воспитатели грозят одеть своих питомцев в грубую, простую одежду в виде наказания: если вы, мол, не будете лучше учиться, если вы не будете беречь своего платья, вас оденут, как этого крестьянского мальчугана. Это все равно, что говорить: знайте, что, если человек значит что-нибудь, то только благодаря платью; вся цена ваша зависит от вашего костюма. Нужно ли удивляться, что эти столь мудрые уроки действительно влияют на юношество, что оно ценит только наряды и судит о достоинстве по одной внешности?

Если бы мне пришлось исправлять избалованного таким образом ребенка, я постарался бы, чтобы самые богатые его костюмы были самыми неудобными, чтобы он всегда был ими на тысячу ладов стеснен, сжат, связан; я так устроил бы, чтобы свобода и веселье обращались в бегство перед его великолепием: захочет он вмешаться в игры детей, прощай одетых, — в минуту все расстраивается, все исчезает. Наконец, я ему наскучил бы, я настолько пресытил бы его пышностью, настолько сделал бы его рабом своего раззолоченного платья, что оно стало бы бичом его жизни, что он с таким ужасом

не смотрел бы на самую мрачную тюрьму, с каким на приготовления к своему наряду. Пока мы не подчинили ребенка своим предрассудкам, быть на воле, быть свободным — это всегда его первое желание; костюм самый простой, самый удобный, менее всего стесняющий, всегда бывает для него самым ценным.

Одни привычки тела соответствуют деятельной жизни, другие — жизни бездеятельной. Последний образ жизни, предоставляя сокам возможность ровного и однообразного течения, вынуждает нас предохранять тело от перемен в воздухе; первый, заставляя тело непрерывно переходить от движения к покою, от жары к холоду, заставляет нас приучать его к этим переменам в воздухе. Отсюда следует, что люди, ведущие комнатную и сидячую жизнь, должны во всякое время одеваться тепло, чтобы сохранять тело в ровной температуре, почти одинаковой во все времена года и во все часы дня. Кто же, напротив, постоянно выходит при ветре; в жару и в дождь, кто — в большом движении и проводит большую часть времени на открытом воздухе, тот должен быть одет всегда легко, чтобы привыкнуть, без вреда для себя, переносить всякие перемены погоды, всякую температуру. Я советовал бы тем и другим не переменять одежды сообразно с временами года; так будет поступать постоянно и Эмиль, — я разумею здесь не то, что он летом будет носить зимнюю одежду, как люди сидячей жизни, но что он и зимой будет носить летнее платье, как люди деятельные. Последнего обычая держался Ньютон в течение всей своей жизни, а он прожил 80 лет.

Поменьше или вовсе не нужно головных уборов в какое бы ни было время года. У древних египтян голова всегда была открыта; персы покрывали ее тяжелыми тюрбанами, необходимость употребления которых Шарден⁶¹ объясняет климатом страны. Я уже говорил, в другом месте *, о различии, какое, осматривая поле битвы, нашел Геродот между черепами персов и черепами египтян⁶³. Так как весьма важно, чтобы головные кости сделались более крепкими и компактными, менее хрупкими и пористыми, для лучшего предохранения нас не только от ранений мозга, но и от насморков, флюсов и всяких влияний воздуха, приучайте детей ваших летом и зимою, днем и ночью, всегда оставаться с непокрытой головой. Если же, для опрятности и для сохранения волос в порядке, вы хотите на ночь покрывать им голову, то берите тонкий и редкий колпак, вроде сетки, в которую баски завертывают свои волосы. Я хорошо знаю, что на большую часть матерей скорее подействуют наблюдения Шардена, чем мои доводы, и они всюду станут находить климат Персии, что

* Письмо к д'Аламберу о зрелищах⁶².

же касается меня, то я не для того выбрал своим воспитанником европейца, чтобы сделать из него азната.

Вообще, детей слишком кутают, особенно в первые годы. Скорее следовало бы приучать их к холоду, чем к теплу; сильный холод никогда не вредит им, если их с ранних пор приучали к нему; но при излишнем жаре ткань их кожи, слишком еще нежная и слабая, пропуская слишком свободно испарину, доводит их этим до неизбежного истощения. Поэтому замечают, что в августе детей умирает больше, чем в какой-либо другой месяц. К тому же при сравнении северных народов с южными оказывается несомненным, что привычка к излишнему холоду более укрепляет тело, чем привычка к излишнему жару. По мере того как ребенок растет и фибры его укрепляются, мало-помалу приучайте его не бояться солнечного жара; идя постепенно вперед, вы без всякой опасности приучите его к зною жаркого пояса.

Локк среди мужественных и разумных правил, которые он дает, впадает и в противоречие, неожиданное для мыслителя, настолько точного. Желая, чтобы дети летом купались в ледяной воде, он в то же время не хочет, чтобы они в разгоряченном состоянии пили холодную воду или ложились на землю на сыром месте *. Но если уж он хочет, чтобы башмаки у детей во всякое время промокали, почему же им не промокать, когда ребенку жарко? И разве нельзя делать те же заключения от ног к телу, которые он делает от рук к ногам и от лица к телу? Если вы, сказал бы я ему, соображения о лице применяете ко всему телу, почему же вы порицаете меня за то, что я соображения о ногах применяю к телу?

Чтобы не дать детям возможности пить в разгоряченном состоянии, он предписывает приучать их, прежде чем пить, съесть предварительно кусок хлеба. Очень странное требование — давать ребенку есть, когда ему хочется пить; по-моему, лучше бы давать ему пить, когда ему хочется есть. Никто меня не убедит, что наши первые позывы неправильны, так что их нельзя удовлетворять, не подвергая себя опасности. Если бы это было так, то род человеческий сто раз успел бы погибнуть, прежде чем научился бы тому, что нужно делать для своего сохранения.

Я хочу, чтобы всякий раз, как Эмилю захочется пить, ему давали пить; я хочу, чтобы ему давали чистую воду, без всяких приго-

* Как будто крестьянские дети выбирают посуше землю, чтобы сесть или лечь, как будто слыхано где, чтобы сырость земли повредила кому-нибудь из них. Если слушать врачей, то подумаешь, что дикари не могут двинуться от ревматизмов.

товлений, даже не подогревая, будь он хоть весь в поту, будь это хоть среди зимы. Я рекомендую только различать свойство воды. Речную воду давайте ему сейчас же, такою, какою ее почерпнули из реки; ключевую воду следует некоторое время оставлять на воздухе, прежде чем пить. В теплое время года речная вода тепла; не то бывает с ключевой водой, которая не была в соприкосновении с воздухом; нужно подождать, пока температура ее не сравняется с атмосферной. Зимой, напротив, ключевая вода менее опасна в этом отношении, чем речная. Но зимой неестественно сильно потеть и не часто это бывает, особенно на открытом воздухе, ибо холодный воздух, ударяясь постоянно о кожу, вгоняет пот внутрь и не дает порам достаточно открываться для свободного пропуска испарины. А между тем я вовсе не предполагаю, что зимой Эмиль будет заниматься у камелька; напротив, он будет вне дома, среди полей, среди снегов. Если он разгорячится только оттого, что играет в снежки, давайте ему пить, когда ему захочется; пусть он продолжает после этого играть, и не станем бояться никакой опасности. Если он вспотеет при каком-нибудь другом занятии и захочет пить, пусть пьет холодную воду, даже тотчас же. Но только сделайте так, чтоб он подальше и помедленнее сходил за ней. Холодный воздух достаточно его освежит, так что, придя, он будет пить без всякой для себя опасности. Особенно старайтесь, чтоб он не заметил этих предосторожностей. По-моему, пусть лучше он будет иной раз болен, лишь бы не ежеминутно наблюдал за своим здоровьем.

Детям нужен продолжительный сон, потому что они непрерывно в движении. Одно служит восстановительным средством для другого: потому-то мы видим, что они нуждаются в том и другом. Время отдыха — ночь, оно указано природой. Постоянно наблюдается, что сон бывает более покойным и сладким, пока солнце за горизонтом, а когда воздух разгорячен его лучами, он не дает нашим чувствам такого полного покоя. Таким образом наиболее здоровой была бы, конечно, привычка вставать и ложиться вместе с солнцем. Отсюда следует, что в нашем климате человеку и всем животным нужно вообще зимой больше спать, чем летом. Но гражданская жизнь не настолько проста и естественна, не настолько ограждена от перемен и случайностей, чтобы следовало приучать человека к этому единообразию, пока оно не станет для него необходимым. Нужно, разумеется, подчиняться правилам; но первым правилом должна быть возможность без риска нарушать их, когда придет необходимость. Не вздумайте поэтому безрассудно изнеживать вашего воспитанника продолжительностью покойного, ничем никогда не нарушаемого сна. Предоставляйте его прежде всего, без всякого стеснения, закону природы;

но не забывайте, что в нашей среде он должен быть выше этого закона, что он должен уметь без вреда для себя лечь поздно, встать рано, неожиданно быть разбуженным, проводить ночи на ногах. Если взяться за дело раньше, если идти вперед всегда осторожно и постепенно, то можно приучить темперамент к тем самым вещам, которые были бы для него разрушительными, если бы он подвергся им после полного уже своего развития.

Важно приучиться прежде всего к жесткой постели: это лучшее средство не находить потом ни одну постель дурною. Вообще суровая жизнь, раз обратившись в привычку, увеличивает число приятных ощущений; жизнь изнеженная подготавливает бесчисленную массу неприятностей. Люди, воспитанные слишком нежно, могут заснуть лишь на пуху; люди, привыкшие спать на досках, заснут где угодно; кто, лежа спать, сейчас же засыпает, для того нет жесткой постели.

Мягкая постель, на которой тело погружается в перья или даже в гагачий пух, размягчает, так сказать, и расслабляет тело. Поясница, слишком тепло прикрытая, разгорячается. В результате часто является каменная болезнь или другие недуги, а неизбежным следствием бывает слабое телосложение, порождающее все другие болезни ⁶⁴.

Лучшая постель та, на которой лучше всего спится. Такую именно постель мы — Эмиль и я — подготавливаем себе в течение дня. Чтобы постлать нашу постель, нам не нужно приведенных из Персии рабов; взрывая для посева землю, мы учимся взбивать и свои тюфяки.

Я знаю по опыту, что, когда ребенок здоров, его можно, почти по произволу, заставить спать или бодрствовать. Когда ребенок лег и надоедает своей болтовней няне, она говорит ему: «Спи!» Это все равно, что сказать ему, когда он болен: «Выздорови!» Лучшее средство усыпить его — это наскучить ему. Говорите, пока он не вынужден будет молчать, и он скоро заснет: нравоучения всегда на что-нибудь да годны; уж лучше читать нравоучения, чем укачивать: но если вы употребляете это усыпительное средство вечером, берегитесь употреблять его днем.

Я буду иной раз будить Эмиля, но не столько из опасения приучить его к слишком продолжительному сну, сколько для того, чтобы приучить его ко всему, даже ко внезапному пробуждению. Впрочем, я был бы слишком не способен к своей должности, если бы не умел принудить его просыпаться самому и вставать по моей, так сказать, воле, но так, чтобы мне не пришлось ему сказать ни одного слова.

Если он мало спит, я стараюсь показать ему, как скучно будет завтрашнее утро, и он сам будет считать выигранным все время, которое проспит; если он спит слишком много, я обещаю ему доставить

любимую забаву, когда встанет. Если я хочу, чтобы он проснулся в определенное время, я говорю ему: завтра, в шесть часов, отправляюсь на рыбную ловлю или туда-то гулять; хочешь участвовать? Он соглашается, просит меня разбудить; я или обещаю или нет, смотря по обстоятельствам: если он просыпается слишком поздно, то уже не застает меня. Дело можно будет назвать очень неудачным, если скоро он не научится просыпаться сам.

Впрочем, если нам придется заметить — а это бывает редко — в каком-нибудь вялом ребенке склонность предаваться лени, то мы должны не поощрять эту склонность, которая может совершенно его притупить, но противопоставить ей какой-нибудь стимул, который возбуждал бы ребенка. Понятно, что речь идет не о насильственном принуждении к действию, а о том, чтобы расшевелить его, вызвав в нем какое-нибудь желание, ведущее к цели; и если это желание выбрано с толком и соответствует порядку природы, то оно сразу приводит нас к двум целям.

Я не могу представить ничего такого, к чему нельзя бы было, при небольшой ловкости, приохотить, даже пристрастить детей, не прибегая ни к тщеславию, ни к соревнованию, ни к зависти. Для этого достаточно их живости, их подражательного ума, а особенно их природной веселости — орудия, действие которого всегда верно и которого никогда не сумел бы придумать наставник. Во всех играх, когда они вполне убеждены, что это только игра, они без жалоб и даже со смехом переносят то, из-за чего при других обстоятельствах пролили бы целые потоки слез. Долгое голодание, удары, ожоги, всякого рода усталость — это забавы молодых дикарей, доказывающие, что и самая боль имеет свою приправу, которая может отнять у ней горечь; но умением готовить это кушанье обладают не все учителя, и не все, быть может, ученики умеют вкушать его без гримас. Вот я и снова готов запутаться, если не остерегусь, в исключениях.

Есть, впрочем, обстоятельство, не допускающее исключений, — это то, что человек подвержен боли, всякого рода скорбям, случайностям, опасностям, угрожающим жизни, наконец, подвержен смерти. Чем более его освоят со всеми этими идеями, тем лучше исцелят его от докучливой чувствительности, которая к скорби прибавляет еще нетерпение; чем больше приучат человека к страданиям, могущим его постигнуть, тем скорее отнимут от них, как сказал бы Монтень, «черту необычайности»⁶⁵ и тем неуязвимее и суровее сделают его душу; тело его будет бронею, которая станет отражать все стрелы, могущие проникнуть в его сердце. Так как приближение смерти не будет для него смертью, то он едва почувствует, что такое смерть;

он не будет, так сказать, «умирать»; он будет только или живым или мертвым, ничего больше. О нем тот же самый Монтень мог бы сказать, как он сказал об одном марокканском короле, что ни один смертный не захватил у смерти так много жизни. Постоянство и твердость, равно как и другие добродетели, — это для детства первые предметы обучения; но научатся дети этим доблестям не тогда, когда узнают их имена, а когда испробуют их на деле, сами не зная, что это такое.

Упомянув о смерти, кстати, спросим себя: как нам поступить со своим воспитанником относительно оспы? Прививать ли ее в малолетстве или подождать, пока он не получит ее естественным путем? Первая мера, более сообразная с принятой нами практикой, гарантирует от опасности тот возраст, когда жизнь наиболее дорога, перенося риск на возраст, когда она менее всего дорога, если только можно назвать риском хорошо обставленную прививку.

Но второй способ более подходит к нашим общим принципам, к правилу давать полный простор природе в тех заботах, которые она любит принимать одна, прекращая их, лишь только человек захочет вмешаться. Человек, близкий к природе, всегда подготовлен: предоставим же этому учителю самому прививать оспу — он выберет момент лучше, чем мы.

Не выводите из этого, что я порицаю прививку; ибо те рассуждения, в силу которых я освобождаю от нее своего воспитанника, очень плохо подойдут к вашим детям. Ваше воспитание ведет к тому, что они не избегнут болезни, коль скоро заразятся; если вы предоставляете появление ее случаю, то очень вероятно, что они погибнут от нее. Я замечаю, что в различных странах тем более противятся прививке, чем необходимее она там становится, и причины этого легко понять. Да и едва ли я сочту важным обсуждать этот вопрос по отношению к Эмилю. Ему привьют оспу, а может быть, и нет, смотря по времени, местности, обстоятельствам; это почти безразлично для него. Если привьют, то выгадают тем, что будут предвидеть и знать заранее его болезнь, а это что-нибудь да значит; если же она появится естественным путем, то мы предохраним его от врача, а это еще важнее.

Воспитание исключительное, стремящееся единственно к тому, чтоб отличить получивших его от простолюдин, всегда предпочитает обыкновенным предметам обучения, а потому и наиболее полезным, такие предметы, изучение которых очень дорого стоит. Таким образом, заботливо воспитанные молодые люди все обучаются верховой езде, потому что это дорого стоит; но почти ни один из них не учится плавать, потому что это ничего не стоит, потому что и ре-

месленник так же хорошо может плавать, как и всякий другой. Между тем путешественник, не прошедши никакого курса, садится на лошадь, держится на ней и умеет пользоваться ею, насколько нужно; но на воде, кто не умеет плавать, тот тонет, а плавать нельзя, не научившись. Наконец, верховая езда не составляет вопроса жизни, тогда как никто не может быть уверен, что избежит опасностей, которым мы столь часто подвергаемся на воде. Эмиль на воде будет чувствовать себя, как на земле. Жаль, что нельзя жить во всех стихиях! Если бы можно было научить его летать по воздуху, я сделал бы из него орла; я сделал бы его саламандрой ⁶⁶, если бы можно было стать нечувствительным к огню.

Боятся, что, учась плавать, ребенок утонет; учась ли он утонет или потому, что не учился, все равно — виной будете вы. Одно тщеславие делает нас безрассудно слепыми; люди не бывают безрассудно отважными, когда их никто не видит. Эмиль не будет таким, даже если бы смотрела на него вся Вселенная. Так как успех упражнений не зависит от риска, то в пруду отцовского парка он мог бы научиться переплывать Геллеспонт ⁶⁷; но следует привыкать даже к риску, чтобы научиться не смущаться перед ним, — это существенная часть первоначального обучения, о котором я только что говорил. Впрочем, если я буду заботливо соразмерять опасность с его силами и всегда разделять ее с ним, то мне не придется бояться безрассудной отваги, так как забота о его сохранении будет у меня тесно связана с заботой о собственной безопасности.

Ребенок меньше взрослого и не имеет ни силы его, ни разума, но видит и слышит он так же хорошо, как взрослый, или почти так же; вкус у него так же чувствителен, хотя и менее тонок; он так же хорошо различает запахи, хотя и не проявляет такой же чувствительности. Из всех способностей первыми формируются и совершенствуются в нас чувства. Их, значит, следует прежде всего развивать; а между тем их только и забывают, ими-то и пренебрегают больше всего.

Упражнять чувства — это значит не только пользоваться ими: это значит учиться хорошо судить с помощью их, учиться, так сказать, чувствовать; ибо мы умеем осязать, видеть, слышать только так, как научились.

Бывают упражнения чисто естественные, механические, которые содействуют укреплению тела, но не дают никакой пищи суждению: дети плавают, бегают, прыгают, гоняют кубарь, пускают камни — все это очень хорошо; но разве мы имеем только руки и ноги? Разве у нас нет, кроме того, глаз, ушей и разве эти органы излишни при существовании первых? Упражняйте же не только силы, но и все чувства, ими управляющие; извлекайте из каждого всю возможную

пользу, затем впечатления одного поверяйте другим. Измеряйте, считайте, взвешивайте, сравнивайте. Употребляйте силу лишь после того, как рассчитаете сопротивление; поступайте всегда так, чтоб оценка результата предшествовала употреблению средств. Покажите ребенку, как выгодно никогда не делать недостаточных или излишних усилий. Если вы приучите его предвидеть таким образом результат всех его движений и путем опыта исправлять ошибки, то не ясно ли, что, чем больше он будет действовать, тем станет рассудительнее?

Приходится сдвинуть тяжесть; если он берет рычаг слишком длинный, он потратит излишнее усилие; если рычаг слишком короткий, ему не хватит силы: опыт может научить его выбирать именно ту палку, которую нужно. Эта мудрость, значит, не будет ему не по летам. Нужно перенести тяжесть; если он хочет взять столько, сколько может нести, и не браться за то, чего ему не поднять, то не будет ли он принужден определять вес на глаз? Если он умеет сравнивать массы одного содержания, но различного объема, то пусть учится делать выбор между массами одного объема, но различного содержания: ему необходимо будет приравниваться к их удельному весу. Я видел молодого человека, очень хорошо воспитанного, который не хотел верить, пока не испытал, что ведро, наполненное толстыми дубовыми щепками, весит легче, чем то же ведро с водою.

Мы не в одинаковой степени властны над всеми нашими чувствами. Есть между ними одно такое, действие которого никогда не прерывается во время бодрствования, — я говорю об осязании, оно распространено по всей поверхности нашего тела, как постоянная стража, приставленная для извещения нас обо всем, что может нам повредить. В этом же чувстве мы благодаря непрерывному упражнению раньше всего приобретаем волей-неволей опытность, а следовательно, имеем менее нужды заботиться об его особенном развитии. Однако мы замечаем, что у слепых осязание вернее и тоньше, чем у нас, потому что, не будучи руководимы зрением, они принуждены учиться извлекать единственно из первого чувства те суждения, которые доставляет нам второе. Почему же после этого не учат нас ходить в темноте, как они, распознавать ночью тела, которые попадают на нас под руки, судить об окружающих предметах, — словом, делать ночью и без света все, что они делают днем и без зрения? Пока светит солнце, мы имеем преимущество над ними; впотьмах они, в свою очередь, становятся нашими руководителями. Мы слепы полжизни, с тою разницею, что настоящие слепые умеют всегда ходить самостоятельно, а мы среди ночи не осмеливаемся сделать шага. У нас свечи, скажут мне. Как, опять искусственные орудия? Кто вам ручается, что в случае нужды они повсюду последуют за вами? Что касается

меня, то я предпочитаю, чтоб у Эмиля глаза были в кончиках пальцев, а не в лавке свечного торговца.

Вы заперты ночью в каком-нибудь здании; хлопните в ладоши — вы узнаете по отголоску, велико помещение или мало, в середине вы или в углу. На полфута от стены воздух, окружая вас менее толстым слоем и сильнее отражаясь, иначе и ощущается вашим лицом. Стойте на месте и поворачивайтесь постепенно во все стороны: если есть открытая дверь, легкий ток воздуха укажет вам это. Если вы в лодке, вы узнаете по тому, как будет ударять вам в лицо воздух, не только направление, в котором плывете, но и то, медленно или быстро несет вас течение реки. Эти и тысяча подобных наблюдений хорошо могут производиться только ночью; среди дня, как бы внимательны мы ни были, зрение будет не только помогать нам, но и отвлекать нас и наблюдения не удадутся. Между тем тут еще не пускаются в ход руки или палка. Сколько наглядных познаний можно приобрести путем ощупыванья, даже ни до чего не дотрагиваясь!

Побольше ночных игр! Этот совет важнее, чем кажется. Ночь, естественно, пугает людей, а иной раз и животных *. Разум, познания, ум, мужество избавляют немногих от этого удела. Я видел, как умники, вольнодумцы, философы, воины, бесстрашные среди дня, дрожали ночью, как женщины, при шуме древесного листа. Ужас этот приписывают влиянию нянькиных сказок; это — заблуждение: есть причина естественная. Какая же это причина? Та же, которая глухих делает недоверчивыми, простонародье суеверным, — незнакомство с предметами, нас окружающими, и с тем, что происходит вокруг нас **. Если я привык издали замечать предметы и заранее

* Этот ужас делается особенно очевидным при больших солнечных затмениях.

** Вот и еще причина, хорошо объясненная философом, на которого я часто ссылаюсь и широкие взгляды которого еще чаще меня просвещают. «Когда мы, вследствие особых обстоятельств, не можем иметь истинного представления о расстоянии и можем судить о предметах только по величине угла или, скорее, отражения, образуемого ими в наших глазах, то мы необходимо ошибаемся насчет величины этих предметов. Всякий испытал, что, идя ночью, куст, стоящий поблизости, принимаешь за большое, стоящее вдали дерево или же большое, отдаленное дерево принимаешь за куст, стоящий по соседству; точно так же, если мы не узнаем предметов по форме и не можем составить себе этим путем никакого представления о расстоянии, то мы опять неизменно ошибаемся. Муха, стремительно пролетевшая на расстоянии нескольких дюймов от наших глаз, покажется нам в этом случае птицей, находящейся на очень большом расстоянии; лошадь, стоящая неподвижно среди поля в положении, сходном, например, с положением барапа, казалась бы нам только большим бараном, пока мы не разглядели бы, что это лошадь; но как скоро мы разгля-

предвидеть получаемые от них впечатления, то, не видя ничего вокруг себя, могу ли я не вообразить себе тысячи существ, тысячи движений, которые могут повредить мне и от которых невозможно мне уберечься? Как ни уверен я, что для меня нет никакой опасности в данном месте, я все-таки не так хорошо в этом уверен, как тогда, когда действительно это видел бы; значит, я всегда имею повод бо-

дели бы, что это лошадь; но как скоро мы разглядели бы ее, она тотчас же показалась бы нам такой же большой, какими бывают лошади, и мы немедленно исправили бы свое первое суждение. — Всякий раз, как мы попадаем ночью в незнакомые места, где мы не можем судить о расстоянии и где вследствие темноты не можем рассмотреть форму предметов, является опасность впасть каждую минуту в ошибку при суждениях о представляющихся нам предметах. Отсюда происходит страх, нечто вроде внутренней боязни, которую внушает темнота ночи почти всем людям; на этом основано появление привидений и гигантских, ужасных образов, о которых рассказывают столько людей, будто видевших их. Обыкновенно им отвечают, что эти образы были в их фантазии; меж тем они действительно могли быть в их глазах, и очень возможно, что они и в самом деле видели то, о чем рассказывают; ибо раз мы не можем судить о предмете иначе, как по углу, образуемому им в глазу, то необходимо должно случиться, что этот неизвестный предмет станет расширяться и увеличиваться по мере приближения к нему. Если зритель не может знать, что видит и на каком расстоянии, и если первоначально, когда предмет был на расстоянии 20—30 шагов, он казался ему вышиной в несколько футов, то он должен казаться вышиной в несколько сажень, когда будет от зрителя всего в нескольких футах, что, действительно, должно удивлять и пугать последнего, пока он не тронет предмета или не разглядит его; в тот самый момент, как он разглядит, что это такое, предмет этот, казавшийся гигантским, вдруг уменьшится и покажется ему лишь в своей действительной величине; но если зритель убежит или не осмелится подойти к нему, то несомненно, что он не будет иметь другого представления об этом предмете, кроме того, которое составилось на основании образа, отраженного им в глазу, и что он действительно увидит гигантскую или ужасную по величине и очертанию фигуру. Таким образом, предрассудок насчет привидений основан на природе, и появление их не зависит, как думают философы, единственно от воображения» (Бюффон. Естественная история, т. VI, с. 22). В тексте я старался показать, что предрассудок этот всегда частью зависит и от воображения; что же касается причины, объясненной в том отрывке, то очевидно, что привычка ходить ночью должна научить нас различать вид, который принимают в наших глазах находящиеся в темноте предметы благодаря сходству своих форм и различию расстояний; ибо когда бывает настолько еще светло, что нам можно видеть контуры предметов, то контуры эти всегда должны казаться нам тем более смутными, чем дальше от нас предмет, так как с удалением предмета увеличивается и лежащий между ним и нами слой воздуха, — и этой большей или меньшей ясности контуров в силу привычки бывает достаточно, чтобы предохранить нас от ошибки, о которой говорит здесь Бюффон. Таким образом, какое объяснение ни предпочитать, все-таки моя метода оказывается всегда действительностью, и опыт вполне подтверждает это.

яться, которого не имел бы днем. Я знаю, правда, что постороннее тело почти не может оказывать действия на мое тело, не возвестив о себе каким-нибудь шумом,— зато как я напрягаю беспрестанно свой слух! При малейшем шуме, причину которого я не могу разобрать, инстинкт самосохранения заставляет меня прежде всего предполагать все то, что должно больше всего принуждать меня быть настороже и что, следовательно, скорее всего способно меня испугать.

Я решительно ничего не слышу, но при всем том я не спокоен, ибо, наконец, и без шума меня могут захватить врасплох. Мне приходится предположить вещи такими, какими они были прежде, какими они должны и теперь еще быть, приходится видеть то, чего не вижу. Таким образом, принужденный пускать в ход воображение, я скоро перестаю владеть им, и, что я делал для успокоения себя, то причиняет мне еще большую тревогу. Если я слышу шум, мне чуждятся воры; если я ничего не слышу, я вижу привидения: бдительность, внушаемая мне заботою о самосохранении, дает мне лишь поводы к страху. Все, что должно меня успокоить, заключается лишь в моем разуме, но более сильный инстинкт говорит мне совершенно иное. К чему мне служит здравая мысль, что нечего бояться, раз я ничего не могу сделать?

Раз найдена причина зла, она указывает и на лекарство. Во всякой вещи привычка убивает воображение; его пробуждают только новые предметы. Относительно тех, которые мы видим каждый день, действует уже не воображение, а память; вот на чем основана аксиома: «*Ab assuetis non fit passio*»⁶⁸, ибо страсти разжигаются лишь огнем воображения. Поэтому не приводите резонов тому, кого вы хотите приучить не бояться потемок; водите его чаще в потемки, и будьте уверены, что все аргументы философии не будут стоить этого образа действия. У кровельщиков на крышах не кружится голова, и не видано, чтобы, кто привык быть в темноте, тот боялся бы ее.

Итак, вот другое преимущество ночных игр вдобавок к первому; но чтоб эти игры удались, я особенно рекомендую для этого веселость. Нет ничего печальнее темноты: не вздумайте запереть вашего ребенка в темницу. Пусть он смеется, когда входит в темноту; пусть смеется и перед выходом оттуда; пока он там, пусть мысль об оставленных за дверью забавах и о тех, кто его ожидает, отвлекает его от фантастичных представлений, которые могли бы его там преследовать.

Есть предел жизни, за которым, идя вперед, начинаешь пятиться назад. Я чувствую, что перешел этот предел. Я начинаю второй раз переживать свою жизнь. Пустота зрелого возраста, испытанная мною, рисует мне сладкую пору первых лет. Старая, я снова делаюсь

ребенком и охотнее вспоминаю, что я делал десяти лет от роду, нежели то, что делал в тридцать лет. Читатели, простите же мне, если я беру иной раз примеры с самого себя; чтобы хорошо написать эту книгу, я должен писать ее с удовольствием.

Я был в деревне на воспитании у одного священника по имени Ламберсье⁶⁹. Товарищем у меня был двоюродный брат; он был богаче меня, и с ним обращались как с наследником, тогда как я, удаленный от отца, был только бедным сиротой. Мой рослый братец Бернар был замечательно труслив, особенно ночью. Я так много смеялся над его страхом, что Ламберсье, которому наскучило мое хвастовство, захотел испытать на деле мое мужество. В один осенний, очень темный вечер он дал мне ключ от церкви и велел сходить за библией, которую оставили в кафедре. Чтобы подстрекнуть мое самолюбие, он прибавил несколько слов, которые сделали невозможным для меня отступление.

Я отправился без свечи; если б она была у меня, вышло бы, может быть, еще хуже. Нужно было пройти по кладбищу; я отважно миновал его, ибо я никогда не испытывал ночных ужасов, пока находился на открытом воздухе.

Отворяя дверь, я услышал под сводом отголосок, который показался мне похожим на голоса и начал колебать мою римскую твердость. Отворив дверь, я хотел войти; но едва сделал несколько шагов, как остановился. При виде глубокого мрака, царившего в этом обширном здании, я был охвачен ужасом, от которого у меня стали дыбом волосы: я пячусь назад, выхожу и пускаюсь бежать, весь дрожа. На дворе я встретил маленькую собачку, которую звали Султаном; ласки ее меня успокоили. Стыдясь своей трусости, я вернулся назад, стараясь, однако, вести с собой и Султана, который не хотел идти за мной. Я быстро шагнул за дверь и очутился в церкви. Едва я вошел, мною снова овладел страх, притом столь сильный, что я потерял голову; и хотя кафедра стояла направо и я очень хорошо это знал, но, незаметно как-то повернувшись, я долго искал ее налево и запутался между скамьями; я уже не понимал, где я, и, не будучи в состоянии отыскать ни кафедры, ни двери, впал в невыразимое волнение. Наконец, я заметил дверь, мне удалось выбраться из церкви, и я удалился с таким же успехом, как и в первый раз, твердо решив не ходить туда одному иначе, как среди бела дня.

Я возвращался домой. При самом почти входе я различаю голос Ламберсье по громким взрывам хохота. Я уже заранее принимаю их на свой счет и, стыдясь, не решаюсь отворить дверь. В это самое время я слышу, как дочь Ламберсье, беспокоясь за меня, приказывает служанке взять фонарь, а сам Ламберсье собирается идти искать ме-

ня, в сопровождении моего отважного брата, которому впоследствии не преминули бы приписать всю честь экспедиции. В один момент все мои ужасы рассеялись, и остался только страх быть застигнутым среди бегства: я бегу, я лечу в церковь; не путаясь и не ощупывая дороги, я добираюсь до кафедры, всхожу на нее, беру библию, кидаюсь вниз; в три прыжка я очутился вне храма, забыв даже затворить дверь; вхожу, запыхавшись, в комнату и бросаю на стол библию, растерянный, но весь трепещущий от радости, что удалось упредить назначавшуюся мне помощь.

Спросят, не выдаю ли я эту черту за образец, достойный подражания, и за пример веселости, которой я требую в подобного рода упражнениях. Нет, но я выдаю ее за доказательство того, что для человека, испуганного мраком ночи, ничего не может быть успокоительнее, как слышать, что собравшееся в соседней комнате общество смеется и спокойно ведет беседу. Я желал бы, чтобы учитель, вместо того чтобы одному забавляться со своим воспитанником, по вечерам собирал толпу веселых детей, чтоб их посылали в темную комнату сначала не поодиночке, а по несколько человек вместе и чтобы никого не пытались посылать в одиночку, не убедившись заранее, что он не слишком перепугается.

Я ничего не могу себе представить столь забавного и полезного, как подобные игры, лишь бы только мало-мальски ловко устраивать их. Я устроил бы в большом зале нечто вроде лабиринта из столов, кресел, стульев, ширм. В безвыходных извилинах этого лабиринта, среди 8—10 коробок-ловушек, я поставил бы одну, почти сходную по виду, но наполненную конфетами; ясными, но краткими словами я определил бы точно место, где стоит интересная коробка; чтобы отличить ее, я дал бы указания, совершенно достаточные для людей более внимательных и менее ветреных, чем дети *; затем, заставив маленьких соперников бросить жребий, я посылал бы одного за другим на поиски, пока не нашлась бы эта привлекательная коробка; а розыски эти я постарался бы сделать трудными, соразмеряясь с ловкостью детей.

Вообразите себе маленького Геркулеса, возвращающегося с коробкою в руке и гордого своим подвигом. Коробка ставится на стол; ее торжественно открывают. Я отсюда слышу взрывы хохота, гиканье веселой толпы, когда вместо ожидаемого лакомства находят аккуратно уложенного на мох или хлопчатую бумагу майского жука,

* Чтобы приучить их к вниманию, говорите им всегда лишь то, что представляет для них осязательный и текущий интерес; особенно не должно быть длиннот и никогда — ни одного лишнего слова; но вместе с тем избегайте в ваших речах темноты и двусмысленности.

улитку, уголь, желудь, репу или другую подобную вещь. В другой раз во вновь выбеленной комнате можно повесить на стену какую-нибудь игрушку, какую-нибудь вещицу; задачей будет — найти ее, не дотрагиваясь до стены. Едва вернется принесший вещь, как запачканный в белом край его шляпы, носок башмаков, пола платья, рукав сейчас же выдадут его неловкость, если он хоть чуть-чуть нарушил условие. Сказанного совершенно достаточно, быть может, даже слишком достаточно, для выяснения смысла такого рода игр. Если вам все нужно говорить да говорить, не читайте меня.

Какие преимущества над другими ночью будет иметь человек, воспитанный подобным образом! Ноги его, привыкшие твердо ступать впотьмах, руки, привыкшие легко разбираться во всех окружающих телах, без труда будут руководить им среди самого густого мрака. Воображению его, занятому ночными играми его юности, не легко обратиться к страшным предметам. Если ему почудятся взрывы хохота, это будет хохот его старых товарищей, а не домовых; если ему представится сборище, это будет не шабаш ведьм, а комната его воспитателя. Ночь, вызывая в нем лишь мысли веселые, никогда не будет для него страшной: вместо того чтобы бояться, он будет любить ее. Случись быть ему в военной экспедиции, он всякий час готов будет идти так же охотно один, как и за толпой. Он проникнет в стан Саула ⁷⁰; пройдет его, на запутавшись; дойдет, никого не разбудив, до палатки царя и вернется назад незамеченным. Нужно похитить коней Реза ⁷¹ — без опасений обращайтесь к нему. Между людьми, воспитанными иначе, вам не так легко найти Улисса ⁷².

Я видел людей, хотевших посредством неожиданностей приучить детей ничего не бояться ночью. Эта метода очень дурна, она производит действие, совершенно противное тому, какого желают, и всегда делает их еще более трусливыми. Ни разум, ни привычка не могут ободрить человека при мысли о предстоящей опасности, если он не знает ни степени ее, ни рода, или при опасении неожиданностей, которым он не раз подвергался. Меж тем, как быть уверенным, что всегда убережешь своего воспитанника от подобных случайностей? Вот, мне кажется, наилучший совет, которым можно предупредить его на этот случай. «Ты имеешь в этом случае, — сказал бы я Эмилю, — полное право защищаться, ибо зачинщик не дает тебе времени обдумывать, хочет ли он нанести тебе вред или только поугаать; а так как выгода на его стороне, то даже бегство не есть защита для тебя. Смело хватай поэтому того, кто врасплох нападает на тебя ночью, человек это или зверь, все равно; сжимай, держи его изо всех сил; если он отбивается, бей, не скупись на удары и, что бы он ни говорил,

что бы он ни делал, не выпускай из рук добычи, пока не узнаешь хорошо, кто это такой. Разъяснение, вероятно, покажет, что тебе нечего было много бояться, а такой способ обращения с шутниками естественно должен отучить их от подобных шуток».

Хотя из всех наших чувств осязанию мы даем наиболее непрерывные упражнения, однако суждения его остаются, как я сказал, несовершенными и более грубыми, чем суждения всякого другого чувства, потому что при употреблении его мы постоянно присоединяем и чувство зрения, а так как глаз достигает предмета скорее, чем рука, то ум почти всегда судит помимо осязания. Зато суждения, основанные на осязании, всегда наиболее верны, именно потому, что они наиболее ограничены; простираясь лишь настолько, насколько могут достать наши руки, они исправляют погрешности других чувств, которые устремляются вдаль, к предметам, едва ими замечаемым, тогда как осязанием, если уж что замечаем, то замечаем хорошо. Прибавьте к тому же, что, присоединяя, когда нам угодно, силу мускулов к действию нервов, мы соединяем, вследствие одновременного ощущения, суждение о температуре, величине и фигуре с суждением о тяжести и твердости. Таким образом, осязание, извещающее нас лучше всех чувств о впечатлении, которое могут произвести на наше тело тела посторонние, есть такое чувство, которое чаще всего бывает в употреблении и всего непосредственнее дает нам знание, необходимое для нашего самосохранения.

Подобно тому как зрение дополняется изощренным осязанием, почему бы этому последнему не дополнять собою до известной степени и слуха, так как ведь звуки возбуждают в звучащих телах колебания, ощутимые и для осязания? Положив руку на виолончель, можно без помощи глаз и ушей, по одному сотрясению и дрожанию дерева различить, какой звук издает она, низкий или высокий, и извлекается ли он из квинты или из баса. Пусть упражняют чувство в этих изменениях, и я не сомневаюсь, что со временем оно может сделаться настолько тонким, что пальцами можно будет выслушать целую арию. А при таком предположении ясно, что с глухим легко можно говорить с помощью музыки; раз тоны и темпы не менее согласных и гласных способны к правильным сочетаниям, их можно было бы принять и за основания речи.

Одни упражнения ослабляют и притупляют чувства осязания; другие, напротив, изощряют его, делая более нежным и тонким. Первые, присоединяя к постоянному соприкосновению с твердыми телами много движения и силы, делают кожу грубою, мозолистою и отнимают у нее природную чувствительность; вторые, благодаря легким и частым соприкосновениям, придают этой самой чувстви-

тельности разнообразие, так что ум наш, внимательный к этим постоянно повторяющимся впечатлениям, приобретает легкость в суждении обо всех этих модификациях. Эта разница ощутима при употреблении различных музыкальных инструментов: крепкое и сдавливающее пальцы прикосновение к виолончели, контрабасу и даже скришке, придавая пальцам больше гибкости, делает кончики их жесткими; прикосновение к гладкой и полированной поверхности клавиатур делает их тоже гибкими, но в то же время и чувствительными. В этом отношении, следовательно, клавиатуры предпочтительнее.

Важно, чтобы кожа закалялась под влиянием воздуха и могла не бояться его перемен, ибо она защищает остальное. Впрочем, я не хотел бы, чтобы рука грубела, слишком рабски исполняя все одну и ту же работу, чтобы кожа на ней делалась почти мозолистою и теряла ту изощренную чувствительность, с помощью которой мы, проводя рукой по предмету, узнаем уже, каков он, и которая иной раз в темноте заставляет нас, смотря по характеру соприкосновения, испытывать приятное или неприятное сотрясение в теле.

К чему принуждать моего воспитанника всегда иметь под ногами бычью кожу? Что за беда, если его собственная может, при случае, служить ему подошвой? Ясно, что в этой части тела нежность кожи никогда не может быть для чего-нибудь полезною; наоборот, она часто немало вредит. Разбуженные врагом в своем городе, в полночь, в глухую зимнюю пору, женеvцы скорее нашли свои ружья, чем башмаки. Кто знает, не была ли бы взята Женева, если бы ни один из них не умел ходить босиком? ⁷³

Станем всегда вооружать человека против непредвиденных случайностей. Пусть Эмиль бегаеt по утрам босиком, во всякое время года, по комнате, по лестнице, по саду; вместо того чтобы бранить его, я стану ему подражать; я позабочусь только удалить с полу стекло. Скоро я буду говорить о ручных работах и играх. А пока пусть он учится делать всякие движения, благоприятствующие развитию тела, и принимать во всех положениях самую легкую и прочную позу; пусть умеет прыгать с разбегу, в высоту, лазать по дереву, перелезать через стену; пусть умеет всегда находить равновесие; пусть все его движения, жесты будут упорядочены по законам равновесия — гораздо прежде, чем возьмется за их объяснение статика. По способу, как нога его ступает на землю, а тело держится на ноге, он должен чувствовать, хорошо ему или нет. Уверенное положение всегда отличается грацией; самые твердые позы бывают вместе с тем и самыми изящными. Если б я был танцевальным учителем,

я не проделывал бы всех обезьяньих прыжков Марселя *, пригодных для той страны, где он их делает; вместо того чтобы вечно занимать своего воспитанника прыжками, я повел бы его к подошве скалы; там я показал бы ему, какое положение следует принимать, как держать корпус и голову, какие делать движения, как опираться то ногою, то рукою, чтобы с легкостью пробираться по утесистым, неровным и каменным тропинкам и перескакивать с выступа на выступ, то поднимаясь, то спускаясь. Я скорее сделал бы из него соперника дикой козы, чем танцора из Оперы.

Насколько осязание сосредоточивает свои действия вокруг человека, настолько зрение расширяет поле своих действий вдаль от человека; оттого-то они и бывают обманчивыми: ведь человек одним взглядом обнимает половину своего горизонта. Как не ошибиться в чем-нибудь при таком множестве одновременных впечатлений и возбуждаемых ими суждений? Таким образом, зрение — самое обманчивое из всех наших чувств, потому именно, что оно шире всего распространяется и операции его, далеко опережая собою все другие чувства, настолько бывают быстрыми и обширными, что их невозможно проверить с помощью других чувств. Больше того: самые иллюзии перспективы необходимы нам для уяснения пространства и для сравнения частей его. Без обманных явлений мы ничего не видели бы в отдалении; без градаций в величине и освещении мы не могли бы оценить никакого расстояния, или, скорее сказать, для нас не существовало бы расстояния. Если из двух равной величины деревьев одно, находящееся в ста шагах от нас, казалось бы таким же большим и так же явственно виднелось бы, как и то, которое в десяти шагах, то мы помещали бы их одно возле другого. Если бы мы все предметы видели в их истинных размерах, то мы не видели бы никакого пространства и все казалось бы нам помещенным на нашем глазу.

Чувство зрения имеет одну и ту же меру для суждения и о величине предметов, и об их расстоянии, именно величину угла, образуемого ими в нашем глазу; а так как эта величина есть простое следствие сложной причины, то при нашем суждении о нем каждая

* Знаменитый парижский танцевальный учитель, который, хорошо зная свой мир, из хитрости корчил из себя сумасброда и важничал своим искусством, которое притворно находил смешным, на деле питая к нему величайшее уважение. В сфере другого искусства, не менее вздорного, и теперь еще можно видеть, как подобным образом важничает и безумствует один комедиант, имеющий не меньший успех. Такой метод во Франции всегда надежен. Истинный талант, более скромный и менее шарлатанский, здесь не имеет успеха. Скромность здесь — добродетель глупцов.

из составных причин остается неопределенною, иначе говоря, суждение необходимо делается ошибочным. Ибо как различить прямо на глаз, почему угол, под которым один предмет представляется мне меньшим, чем другой, бывает таким-то, потому ли, что первый предмет действительно меньше, или потому, что он более удален?

Итак, здесь нужно держаться противоположной, сравнительно с предыдущею, методы; вместо упрощения нужно удваивать их, всегда проверять другими ощущениями; орган зрения нужно подчинять органу осязания и задерживать, так сказать, стремительность первого чувства тяжелым и правильным ходом второго. За недостатком такого навыка наши измерения на глаз очень неточны. Мы совершенно не отличаемся верностью взгляда при суждении о высоте, длине, глубине, расстояниях; а что здесь не столько вина чувства, сколько недостаток навыка, это доказывается тем, что у инженеров, землемеров, архитекторов, каменщиков, живописцев глаз вообще гораздо вернее, чем у нас, и они правильнее определяют меры протяжения: так как ремесло дает им в этом отношении опытность, приобретением которой мы пренебрегаем, то сомнительность показаний угла у них вознаграждается другими признаками, точнее, на их глаз, определяющими отношение между двумя причинами, дающими этот угол.⁷⁴

Детей всегда легко склонить к таким действиям, которые дают телу движение, не стесняя его. Есть тысяча способов, чтобы заинтересовать их измерением, распознаванием, оценкою расстояний. Вот очень высокое вишневое дерево. Как нарвать вишен? Годится ли для этого лестница от риги? Вот очень широкий ручей. Как нам перейти его? Можно ли перекинуть через него одну из досок со двора? Нам хотелось бы из окон удить во рвах, окружающих замок, — во сколько сажен длины нужно для этого удочки? Я хотел бы повесить качели между этими двумя деревьями — хватит ли на это двухсаженной веревки? Мне говорят, что в другом доме комната наша будет в двадцать пять квадратных футов, — как вы думаете, годится ли она для нас, больше ли она будет этой комнаты? Мы очень проголодались, вот две деревни — до которой из них скорее дойдешь пообедать? И т. п.

Требовалось приучить бегать одного вялого, ленивого ребенка, который сам по себе не был склонен ни к этому упражнению, ни к какому-либо другому, хотя его предназначали в военную службу: он убедил себя, не знаю как, что человек его сословия не должен ничего ни делать, ни знать и что дворянство его должно заменить ему и руки и ноги, равно как и всякого рода заслугу. Едва ли ловкости самого Хирона было бы достаточно, чтобы из такого дворянчика сделать

быстроногого Ахилла.⁷⁵ Трудность тем увеличивалась, что я не хотел ему решительно ничего предписывать: я исключил из моих прав увещания, обещания, угрозы, соревнование, желание блеснуть. Как, ничего не говоря ему, возбудить в нем желание бегать? Бегать самому — это было бы средством не очень верным и часто неудобным. Кроме того, требовалось еще извлекать из этого упражнения какой-нибудь поучительный урок для него, чтобы деятельность тела приучать всегда идти заодно с деятельностью рассудка. Вот как я придумал поступить, я, т. е. тот, кто говорит в этом примере.

Отправляясь с ним на прогулку, после полудня, я клал иногда в карман пару любимых его пирожков; гуляя *, мы съедали по одному и возвращались домой очень довольные. Раз он заметил, что у меня было три пирожка; он мог бы, не поморщившись, съесть хоть шесть и спешил окончить свой, чтобы выпросить у меня третий. «Нет, — говорю я, — пирог этот я отлично съел бы и сам, или, пожалуй, мы поделились бы, но мне хочется устроить из-за него состязание в беге между вон теми двумя маленькими мальчуганами». Я позвал их, показал им пирог и предложил условия. Большого им и не требовалось. Пирог положили на большой камень, который служил целью; намечено было ристалище; мы отошли и сели; по данному знаку мальчуганы пустились бежать; победитель схватил пирог и безжалостно съел его на глазах зрителей и побежденного.

Забава эта стоила дороже пирожка; но на первых порах она не произвела действия и кончилась ничем. Я не унывал и не торопился: воспитание детей — это такое ремесло, где нужно уметь терять время, чтоб его выигрывать. Мы продолжали свои прогулки; часто брали по три пирожка, а иной раз четыре; по временам один, даже два пирога доставались бегунам. Если приз был не велик, зато и оспаривавшие его не были честолюбивы: получившего приз хвалили, поздравляли; все совершалось торжественно. Чтобы сделать возможной перемену счастья и увеличить интерес, я намечал более длинное ристалище, допускал несколько соперников. Как только выступали они на арену, все прохожие останавливались, чтобы поглядеть: восклицания, крики, хлопанье в ладоши подстрекали их; я не раз видел, как и мой мальчуган вздрагивал, поднимался, вскрикивал,

* Речь идет, как мы сейчас увидим, о прогулке в поле. Публичные городские гулянья губительны для детей того и другого пола. Тут именно зарождается у них тщеславие и желание привлечь взоры: в Люксембурге, в Тюльри, особенно в Пале-Рояле зпатная парижская молодежь принимает тот дерзкий и фатовской вид, который делает ее столь уморительной и возбуждает насмешки и отвращение к ней во всей Европе.

когда кто-нибудь из них почти настигал или перегонял другого; это были для него олимпийские игры.

Меж тем соперники пускались иной раз в плутовство: они задерживали друг друга, заставляли друг друга падать или подбрасывали один другому под ноги камни. Это дало мне повод разлучить их и заставить бегать от разных концов, хотя и одинаково удаленных от цели; скоро увидят причину этой предусмотрительности, ибо я должен излагать это важное дело с большими подробностями.

Когда моему кавалеру наскучило постоянно смотреть, как на его глазах съедали пирожки, возбуждавшие в нем сильную зависть, он догадался, наконец, что умение бегать может годиться на что-нибудь, и, видя у себя такие же две ноги, начал тайком испытывать себя. Я делал вид, что ничего не замечаю; но я понял, что моя хитрость удалась. Когда он счел себя довольно сильным — а я еще раньше него проник в его мысль, — он нарочно стал приставать ко мне, чтоб я отдал ему оставшийся пирожок. Я отказываю, он настаивает и, наконец, с видом досады говорит мне: «Ну, хорошо! кладите его на камень, обозначьте место для бега, а там мы посмотрим!» — «Ладно! — сказал я, смеясь, — но разве такой франт умеет бегать? В результате вы получите еще больший аппетит, а не средство его удовлетворить». Задетый моею насмешкою, он напрягает все силы и получает приз, тем более что я отметил очень короткое пространство и озаботился устранить лучшего конкурента. Понятно, как легко мне было, после этого первого шага, занимать этими упражнениями ребенка. Скоро он так к ним пристрастился, что без всяких послаблений, почти наверняка побеждал в беге моих шалунов, как ни длинен был конец.

Эта победа повела за собою другую, о которой я и не думал. Пока он редко получал приз, он съедал его почти всегда один, как делали его конкуренты; но, привыкнув побеждать, он стал великодушным и часто делился с побежденными. Это дало повод мне самому сделать нравственное наблюдение, и я узнал из этого, где истинное начало великодушия.

Продолжая вместе с ним намечать в различных местах пункты, от которых каждый должен был бежать одновременно с другими, я назначил, незаметно для него, расстояния неодинаковые, так что на стороне того, кому приходилось пробежать больше, чем другому, чтобы достигнуть той же цели, была очевидная невыгода; но хотя выбор я предоставлял моему ученику, он не умел им пользоваться. Нисколько не заботясь о расстоянии, он выбирал всегда наиболее заманчивый путь, так что, легко предвидя его выбор, я был почти властен по своему произволу давать ему — или проигрывать, или выигрывать пирожок; уловка эта тоже вела не к одной только цели.

Однако, так как в мои расчеты входило, чтобы он усмотрел разницу, то я старался делать ее заметно для него; но при всей вялости в покойном состоянии он был столь жив в играх и столь мало подозревал меня, что мне стоило больших трудов дать ему заметить, что я плутую. Наконец, мне удалось это, несмотря на его ветреность; он меня упрекнул. Я сказал ему: «На что же вы жалуетесь? Разве, желая сделать подарок, я не властен предложить свои условия? Кто велит вам бежать! Разве я обещал вам назначать равные концы? Не вы ли делаете выбор? Избирайте кратчайший путь, и никто вам не мешает. Как же вы не видите, что я вам же помогаю и что неравенство, на которое вы ворчите, вам же выгодно, если вы сумеете воспользоваться им?» Это было ясно; он понял, а для выбора требовалось уже ближе присматриваться. Сначала он вздумал считать шаги; но измерение шагами ребенка медленно и ошибочно; кроме того, я решил увеличить число состязаний в один и тот же день, а так как забава превратилась после этого в род страсти, то жалко было терять на измерение концов время, назначенное для беганья. Живость детства плохо мирится с подобною медлительностью: и вот он стал учиться лучше смотреть, лучше оценивать на глаз расстояние. После этого мне не трудно уже было развивать и поддерживать эту склонность. Наконец, после нескольких месяцев опыта и ошибок, которые исправлялись, глазомер у него так изощрился, что, когда я прикидывал мысленно, что пирог лежит на таком-то отдаленном предмете, он почти так же верно определял расстояние глазом, как землемер цепью.

Так как из всех чувств зрение труднее всего отделить от суждений ума, то немало нужно времени, чтобы научиться видеть; долго нужно проверять зрение осязанием, чтобы приучить первое из этих чувств давать нам верный отчет о фигурах и расстояниях: не будь осязания, не будь постепенного движения, самые зоркие в мире глаза не могли бы дать нам никакой идеи о протяженности. Для устрицы целая Вселенная должна быть лишь одной точкой; она ничем больше не казалась бы даже тогда, когда человеческая душа дала бы этой устрице свои познания. Только ходьбою и ощупыванием, счетом и измерением размеров мы научаемся оценивать их; но зато если бы мы всегда измеряли, то чувство наше, полагаясь на инструмент, не приобрело бы никакой правильности. Не нужно также, чтобы ребенок сразу переходил от измерения к глазомеру; сначала нужно, чтоб он, продолжая по частям сравнивать то, чего не сумел бы сравнить сразу, точное число единиц заменял по приблизительному расчету другими единицами, чтобы вместо постоянного наложения меры рукою приучался прикидывать ее на глаз. Однако я хотел бы, чтоб

его первые операции проверяли действительным измерением, с целью исправить его ошибки, и чтобы, если в его чувственном восприятии остается какой-нибудь ложный след, он научился поправлять его с помощью более правильного суждения. У нас есть природные меры, которые почти одни и те же во всех местах, — шаги человека, расстояние размаха рук, рост его. Когда ребенок прикидывает на глаз высоту этажа, воспитатель его может служить ему вместо сажени; если он прикидывает высоту колокольни, мерой длины пусть для него будут дома; хочет он узнать, сколько лье пройдено, пусть сосчитает, сколько шли часов, и в особенности пусть тут ничего не делают за него: пусть он делает все сам.

Нельзя научиться хорошо судить о протяженности и величине тел, не научившись вместе с тем распознавать фигуры их и даже воспроизводить их; ибо воспроизведение это в сущности основывается исключительно на законах перспективы, а нельзя оценивать протяженность по этим признакам, если не имеешь понятия об этих законах. Дети, великие подражатели, все пробуют рисовать; я хотел бы, чтобы и мой воспитанник занимался этим искусством, не ради самого именно искусства, а ради приобретения верного глаза и гибкости в руке; да и вообще не важно, знаком ли он с тем или иным упражнением: важно лишь, чтоб он получил ту проницательность чувства и тот хороший склад тела, который приобретается этим упражнением. Поэтому я ни за что не пригласил бы для него учителя рисования, который дает для подражания одни лишь подражания и заставляет рисовать только с рисунков: я хочу, чтоб у него не было иного учителя, кроме природы, иной модели, кроме предметов. Я хочу, чтоб у него на глазах был самый оригинал, а не бумага, изображающая его, чтоб он набрасывал дом с дома, дерево с дерева, человека с человека, с целью приучиться хорошо наблюдать тела с их наружными признаками, а не принимать ложных и условных подражаний за настоящие подражания. Я отговаривал бы его даже чертить что-либо на память при отсутствии предметов до тех пор, пока вследствие многочисленных наблюдений хорошо не запечатлятся в его воображении их точные образы: я боюсь, чтобы, заменяя истину в вещах прихотливыми и фантастичными фигурами, он не лишился понимания пропорций и любви к красотам природы.

Я хорошо знаю, что при таком способе он долго будет пачкать бумагу, не производя ничего такого, что можно было бы узнать, что он поздно приобретет изящество контуров и обычную у рисовальщиков легкость штрихов, а умения распознавать живописные эффекты и хорошего вкуса в рисунке и никогда, может быть, не добьется; но зато он приобретет, несомненно, большую правильность глаза,

большую верность руки, знание истинных соотношений в величине и фигуре, существующих между животными, растениями и природными телами, и скорее постигнет игру перспективы. Вот чего именно я и добивался; в мои планы входит не столько то, чтоб он умел подражать предметам, сколько то, чтоб он узнал их; я лучше желаю, чтоб он показал мне растение — акант и не так хорошо умел чертить акантовую листву капители ⁷⁶.

Впрочем, как при этом упражнении, так и при всех других, я не претендую на то, чтобы воспитанник мой забавлялся один. Желая сделать это занятие еще более приятным для него, я и сам постоянно буду заниматься тем же. Я не хочу, чтоб у него был другой соперник, кроме меня; но я буду соперником неутомимым и бесстрашным; это придаст интерес его занятиям, не порождая между нами зависти. Я возьму карандаш по его примеру; сначала я буду им действовать так же неловко, как и он. Будь я Аппеллесом, я все-таки окажусь простым пачкуном. Я начну с того, что нарисую человека в том роде, как лакеи чертят на стенах: черта вместо руки, черта вместо ноги, а пальцы толще руки. Позже кто-нибудь из нас заметит эту несоразмерность; мы подметим, что нога имеет толщину, что эта толщина не везде одна и та же, что рука имеет определенную длину по сравнению с телом и т. д. При этих успехах я — самое большее — буду идти рядом с ним или так мало буду опережать его, что ему всегда легко будет нагнать меня, а часто и перегнать. У нас будут краски, кисти; мы будем стараться подражать колориту предметов и всей их наружности, равно как и фигуре их. Мы будем раскрашивать, мазать, пачкать; но во всех своих мазаньях мы не перестанем всматриваться в природу; мы никогда ничего не будем делать иначе, как на глазах учителя ⁷⁷.

Мы были в затруднении относительно украшений для нашей комнаты — вот и они готовы. Я велю наши рисунки вставить в рамки; велю закрыть их хорошими стеклами, чтобы их уже не трогали и чтобы каждый, видя, что они сохраняются в том состоянии, как вышли из наших рук, старался не пренебрегать и своими. Я размещаю их по порядку вокруг комнаты, каждый рисунок в 20—30 экземплярах, показывающих постепенные успехи художника, начиная с момента, когда дом был почти безобразным четырехугольником, и кончая моментом, когда фасад его, профиль, пропорции и тени переданы с самым точным правдоподобием. Эти градации не могут не являться картинами, постоянно интересными для нас и любопытными для других, не могут не возбуждать в нас еще большее соревнование. Первые, самые грубые из этих рисунков я отделяваю в самые блестящие, раззолоченные рамки, которые возвышали бы их

цену; но, когда подражание делается более точным и рисунок действительно хорош, я вставляю его в самую простую черную рамку: он не нуждается в другом украшении, кроме самого себя, и было бы жалко, если бы рама отвлекла внимание, которого заслуживает предмет. Таким образом, каждый из нас добивается чести получить гладкую рамку; и если один хочет выказать пренебрежение к рисунку другого, то присуждает его к золотой раме. Когда-нибудь, может быть, эти золотые рамы перейдут у нас в пословицу, и мы будем удивляться тому, сколько людей воздают себе должное, ставя себя в подобные рамки.

Я сказал, что геометрия была бы не под силу детям; но в этом виноваты мы. Мы не чувствуем того, что их метода не наша: что для нас становится искусством рассуждать, то для них должно быть только искусством видеть. Вместо того чтобы давать им нашу методу, нам лучше было бы перенять их методу; ибо наш способ изучения геометрии — столько же дело воображения, сколько рассудка. Когда предложена теорема, доказательство ее приходится выдумывать, т. е. приходится отыскивать, из какой известной уже теоремы данная теорема должна вытекать, и из всех последствий, которые можно извлечь из этой самой теоремы, выбирать именно то, о котором должна идти речь.

При таком способе самый точный мыслитель, если он не одарен изобретательностью, должен стать в тупик. Таким образом, что же отсюда выходит? Вместо того чтобы заставлять нас отыскивать доказательства, нам их подсказывают; вместо того чтобы нас учить рассуждать, учитель за нас рассуждает и упражняет одну нашу память.

Начертите точные фигуры, соединяйте их, накладывайте одну на другую, рассматривайте отношения их; идя от наблюдения к наблюдению, вы найдете тут всю элементарную геометрию, не прибегая ни к определениям, ни к задачам и ни к каким другим формам доказательства, кроме простого наложения фигур. Что касается меня, то я не имею претензии учить Эмиля геометрии: он сам меня будет учить; я буду искать отношения, он будет их находить, ибо я так их буду искать, чтобы дать ему возможность найти. Например, вместо того чтоб употреблять циркуль для начертания круга, я начерчу его с помощью острия, привязанного к вращающейся вокруг стержня нитке. Затем, когда я захочу сравнивать радиусы между собою, Эмиль посмеется надо мной и даст мне понять, что одна и та же нить, постоянно натянутая, не могла дать расстояний неравных.

Если я хочу измерить угол в 60° , я описываю от вершины этого угла не дугу, но целую окружность, ибо, когда имеем дело с детьми,

у нас ничего не должно подразумеваться. Я нахожу, что доля окружности, заключающаяся между двумя сторонами угла, есть шестая часть окружности. Затем я описываю от той же вершины другую, еще бóльшую окружность и нахожу, что эта вторая дуга опять составляет шестую часть своей окружности. Я описываю третью concentрическую окружность и проделываю над нею ту же пробу; я продолжаю повторять ее с новыми окружностями до тех пор, пока Эмиль, раздосадованный моею тупостью, не сообщит мне, что всякая дуга, большая или малая, заключенная между сторонами этого самого угла, всегда будет шестою частью своей окружности, и т. д. Вот мы дошли сейчас до употребления транспортира.

Чтобы доказать, что углы, лежащие по одну сторону прямой, равны двум прямым, описывают окружность: я же, напротив, устрою так, чтобы Эмиль заметил это первоначально в круге, и затем спрошу: «Если отнять окружность, то изменится ли и величина прямых линий, углов и т. д.?»

На правильность фигур не обращают внимания: ее предполагают и прямо принимают за доказательство. Мы же, напротив, никогда не будем гоняться за доказательствами; нашей главною задачей будет провести совершенно прямые, совершенно правильные, совершенно равные линии, сделать вполне правильный прямоугольник, начертать совершенно круглую окружность. Чтобы проверить правильность фигуры, мы рассмотрим ее со стороны всех ее видимых свойств, и это будет давать нам возможность ежедневно открывать новые свойства. Мы станем складывать по диаметру два полукруга, по диагонали две половины прямоугольника; мы сравним две фигуры, чтобы видеть, у которой стороны сходятся точнее и которая, следовательно, лучше сделана; мы будем спорить о том, должно ли это равенство при делении существовать всегда и в параллелограммах, трапециях и т. д. Попытаемся иной раз предугадать успех опыта; прежде чем производить его, постараемся отыскать основания и т. д.

Геометрия для моего ученика — это только искусство умело пользоваться линейкой и циркулем; он не должен смешивать ее с рисованием, при котором он не будет употреблять ни того, ни другого из этих приборов. Линейка и циркуль будут под замком и будут выдаваться ему только изредка и то на короткое время, чтобы не приучать его к маранью; но мы можем брать иной раз свои фигуры, идя на прогулку, и беседовать о том, что сделали или что хотим сделать.

Я никогда не забуду одного молодого человека, виденного мною в Турине, которого в детстве учили распознавать очертания и поверхности, давая ему ежедневно из всех геометрических фигур с рав-

ными периметрами выбирать, какие хочет, — вафли. Маленький обжора исчерпал все искусство Архимеда, чтобы найти фигуру, где было бы больше еды.

Когда ребенок играет в волаи, он приучает глаз и руку к точности; когда он пускает кубарь, он напрягает свою силу, употребляя ее в дело, но ничему не научается. Я не раз спрашивал, почему детям не предлагают тех же самых игр, изощряющих ловкость, которыми занимаются взрослые, — игры в мяч, в шары, бильярд, лук, лапту, музыкальные инструменты. Мне отвечали, будто некоторые из этих игр им не по силам, а для других недостаточно еще развиты их члены и органы. Я нахожу эти доводы неосновательными: ребенок не имеет роста взрослого человека и все-таки носит платье одного с ним покроя. Я не требую, чтоб он играл нашими киями на бильярде в три фута вышиною, чтобы он ходил перекидывать мяч в наши игорные клубы или чтоб он отягощал свою маленькую руку отбойником для игры в мяч; но пусть он играет в зале, окна которого защищены; пусть сначала пользуется мягкими мячами, пусть его первые отбойники будут из дерева, потом из кожи и, наконец, из кишечной струны, натянутой сообразно с его успехами. Вы предпочитаете волаи, потому что он менее утомляет и не представляет опасности. Но вы не правы в том и другом доводе. Волаи — игра женская; но нет ни одной женщины, которую не обратил бы в бегство летящий мяч. Их белая кожа не должна грубеть от синяков, и не ушибов ждут их лица. Но мы, созданные для того, чтобы быть сильными, уже не воображаем ли, что станем сильными без всякого труда? и на какую мы будем способны защиту, если никогда не будем подвергаться нападению? Игры, где без риска можно быть неловким, играютя всегда вяло: падающий волаи никого не ушибает; но ничто так не изощряет ловкости рук, как необходимость закрывать голову, ничто не дает такой верности глазу, как потребность защищать глаза. Бросаться с одного конца зала в другой, рассчитывать скачок мяча, пока он еще в воздухе, отбрасывать его сильной и меткой рукой — подобные игры годятся не столько для взрослого человека, сколько для того, чтобы сделать его таковым.

«Фибры ребенка, — говорят, — слишком мягки!» Они менее упруги, но зато более гибки; «рука его слаба», — но ведь это все-таки рука; ею и нужно делать, соблюдая известную соразмерность, все, что другой делает подобным орудием. «У детей нет в руках никакой ловкости», — поэтому-то я и хочу сделать руки ловкими: ловкости не имел бы и взрослый, если бы столь же мало упражнялся, как и дети; мы только тогда можем знать, на что годны наши органы, когда употребляли их уже в дело. Лишь долгий опыт научает нас

извлекать пользу из самих себя; опыт этот и есть истинная наука, заниматься которой никогда нам не рано.

Все, что раз сделано, можно сделать. У ловких и хорошо сложенных детей часто мы встречаем такое же проворство в членах, какое может быть у взрослого. Почти на всех ярмарках можно видеть, как дети проделывают разные фокусы эквилибристики, ходят на руках, прыгают, танцуют на канате. Сколько лет детские труппы привлекали своими балетами зрителей в «Итальянскую комедию»! ⁷⁸ Кто не слышал в Германии и Италии о пантомимной труппе знаменитого Николини? Замечал ли кто у этих детей движения менее развязные, позы менее грациозные, меньшую верность слуха, меньшую легкость танцев, чем у настоящих взрослых танцоров? Пусть пальцы на первых порах будут толсты, коротки, малоподвижны, пускай руки будут пухлы, мало способны крепко схватить — разве это мешает многим детям уметь писать или рисовать в том возрасте, когда другие не умеют держать карандаша или пера? Весь Париж помнит еще маленькую англичанку, которая в десять лет проделывала чудеса на клавикордах *. У одного чиновника ⁸⁰ я видел, как его сына, восьмилетнего мальчика, ставили на стол за десертом, точно статую, между подносами, и он играл там на скрипке, почти одной с ним величины, удивляя своим исполнением самих артистов.

Все эти примеры и сотня тысяч других доказывают, мне кажется, что предполагаемая в детях неспособность к нашим упражнениям существует только в воображении и что если в некоторых упражнениях они не успевают, то это потому, что их никогда не упражняли.

Скажут, что я впадаю здесь по отношению к телу в ошибку, мною же указанную, что рекомендую преждевременное развитие, которое порицаю в детях по отношению к уму. Но тут очень большая разница: в одном случае успех только кажущийся, в другом — действительный. Я показал, что ума, который они, по-видимому, выказывают, у них нет, меж тем как все, что они делают как бы напоказ, они действительно делают. Впрочем, нужно всегда помнить, что все эти упражнения должны быть только игрою, легким и добровольным направлением движений, которых требует от них природа, искусством разнообразить их забавы, чтобы сделать их более приятными для них; тут не должно быть ни малейшего принуждения, обращающего упражнения в труд. Ведь всякую, наконец, забаву можно сделать предметом поучительным для них. А если бы я не мог этого сделать, важно только, чтобы забавы были безвредны и чтобы прохо-

* Маленький семилетний мальчик проделывал несколько позже еще более изумительные вещи ⁷⁹.

дило время, а успехи детей, в каком бы то ни было упражнении, не важны для настоящей минуты; меж тем если считать необходимым обучение их тому или иному, то никогда невозможно, несмотря ни на какие приемы, достигнуть цели без принуждения, без досады и скуки.

Сказанное мною об этих двух чувствах, употребление которых бывает наиболее непрерывным и важным, может служить примером того, как упражнять и прочие чувства. Зрение и осязание одинаково распространяются и на тела, находящиеся в покое, и на тела движущиеся; но шум или звук производят только движущиеся тела, так как лишь сотрясение воздуха может привести в действие чувство слуха, если бы все было в покое, мы ничего не слышали бы. Поэтому ночью, когда мы движемся лишь настолько, насколько нам угодно, и когда, значит, приходится бояться лишь тех тел, которые сами движутся, ночью, повторяю, важно иметь особенно бдительный слух и по воспринимаемому ощущению уметь судить, велико или мало тело, производящее ощущение, далеко ли оно или близко, сильно ли его сотрясение или слабо. Сотрясенный воздух, встречая препятствия, отражается от них и, производя эхо, повторяет и ощущение, так что шум или звук тела слышится в другом месте, а не там, где последнее находится. Если на равнине или в долине приложить ухо к земле, то гораздо дальше услышишь голоса людей или топот коней, чем слышал бы стоя.

Подобно тому как мы сравнивали зрение с осязанием, полезно сличать его и со слухом и узнавать, которое из двух впечатлений, идущих одновременно от одного и того же тела, дойдет скорее до соответственного органа. Когда видишь пушечный огонь, можно еще укрыться от удара; но как только услышишь звук, тогда уже поздно, — ядро тут. По промежутку времени между молнией и ударом можно судить, на каком от нас расстоянии разражается гром. Сделайте так, чтобы ребенку были известны все эти опыты; пусть он сам производит те, которые ему по силам, и пусть путем индукции находит другие; но я в сто раз больше желал бы, чтобы он не знал их, если вы считаете нужным ему рассказывать о них.

У нас есть орган, соответствующий слуху, — я разумею голос; но мы не имеем подобного же органа, который соответствовал бы зрению; мы не можем «издавать» цвета, подобно звукам. Таким образом, у нас есть и еще средство для развития первого из этих чувств — мы можем упражнять активный и пассивный органы, один с помощью другого.

У человека три рода голоса, а именно: голос речи, или членораздельный, голос пения, или мелодический, и голос патетический,

или выразительный, который служит языком страстей, оживляя и пение, и речь. У ребенка, как и у взрослого, есть все три рода голоса, но он не умеет подобным же образом сочетать их: у него, как и у нас, есть смех, крики, жалобы, восклицания, стоны, но он не умеет примешивать эти изменения с двумя другими родами голоса. Совершенная музыка — та, которая наилучшим образом соединяет эти три рода голоса. Дети не способны к такой музыке, и в их пении никогда нет души. Точно так же и в области членораздельного голоса язык их невыразителен; они кричат, но не акцентируют, и как в речи их мало выразительности, так и в голосе их мало энергии. Речь нашего воспитанника будет еще ровнее, еще проще, потому что к ней не будут примешивать своего голоса страсти, еще не проснувшиеся. Не вздумайте поэтому давать ему читать вслух роли из трагедии или комедии или учить его, как говорят, «декламировать». У него будет слишком много смысла, так что он не сумеет выдержать тон в вещах, которых не может понимать, и придать выражение чувствам, которых никогда не испытывал.

Учите его говорить ровно, ясно, хорошо выговаривать, произносить точно и без аффектации, различать грамматическое и просодическое ударения и следить за ними, говорить всегда настолько громко, чтоб его слышали, но никогда не возвышать голоса больше, чем нужно, что является обычным недостатком детей, воспитанных в коллежах: во всякой вещи — ничего излишнего!

Точно так же и в пении: сделайте голос его верным, ровным, гибким, звучным, ухо — чувствительным к такту и гармонии, но ничего больше. Музыка подражательная и театральная не по его летам; я не желал бы даже, чтобы он пел со словами; если же он захотел бы этого, я постарался бы сочинить нарочно для него песенки, занимательные для его возраста и столь же простые, как и его идеи.

Понятно, что, если я так мало спешу учить его чтению письма, я еще менее буду спешить учить его чтению музыки. Оградим его мозг от всякого слишком трудного внимания и не будем торопиться пригвождать его ум к условным знакам. Это, признаюсь, представляет, по-видимому, некоторую трудность; ибо, если на первый взгляд знание нот и кажется не более необходимым для умения петь, чем знание букв для умения говорить, все-таки тут разница в том, что, говоря, мы передаем свои собственные мысли, а при пении передаем почти только чужие; а для того чтобы их передавать, нужно их читать.

Но, во-первых, вместо того чтобы читать, их можно слушать, а мелодия уху передается еще вернее, чем глазу. Далее, чтобы хорошо знать музыку, недостаточно передавать ее: нужно заниматься и ком-

позицией, и одному нужно учиться вместе с другим, а иначе не будешь никогда хорошо знать ее. Упражняйте вашего маленького музыканта прежде всего в составлении музыкальных фраз, совершенно правильных, с хорошим кадансом; затем учите связывать их простейшей модуляцией, наконец — обозначать их различные отношения правильной пунктуацией, что достигается хорошим выбором кадансов и пауз. В особенности не должно быть неестественного пения, ничего патетического, выразительного! Мелодия всегда пусть будет певучей и простой, всегда вытекающей из основных нот гаммы и всегда настолько ясно обозначающей бас, чтобы ребенок чувствовал его и без труда следил за ним при аккомпанировании; ибо, чтобы развить и голос, и ухо, он должен петь не иначе, как под клави-корды.

Чтобы лучше оттенить звуки, их расчленяют при произношении; отсюда обычай — петь по нотам без текста, с помощью известных слогов. Чтобы различить ступени, нужно дать названия и этим ступеням и их различным, точно определенным положениям; отсюда — названия интервалов, а также обозначение буквами алфавита клавишей клавиатуры и нот гаммы. С и А означают собою звуки точно определенные, неизменные, производимые всегда одними и теми же клавишами. Ut и la — другое дело. Ut есть постоянно тоника мажорного наклонения или медианта минорного наклонения. La есть постоянно тоника минорного наклонения или шестая нота мажорного наклонения. Таким образом, буквы отмечают неизменные пункты в отношениях нашей музыкальной системы, а слоги — соответственные пункты подобных отношений в различных гаммах. Буквами обозначаются клавиши клавиатуры, а слогами — ступени наклонения. Французские музыканты странным образом перепутали эти различия; они смешали смысл слогов со смыслом букв и, бесполезно удвоив число знаков для клавиш, не оставили знаков для обозначения нот гаммы, так что у них ut и С всегда одно и то же, что неверно и чего не должно быть, ибо тогда для чего же служило бы С. Да и способ их петь гаммы крайне труден и в то же время не приносит никакой пользы, не давая уму никакой ясной идеи, так как по этой методе слоги, например, ut и mi могут оба одинаково обозначать терцию мажорную и минорную, увеличенную или уменьшенную. По какому-то странному злополучию, где написаны самые прекрасные книги о музыке, в той же самой стране и труднее всего научиться ей.

Будем держаться с нашим воспитанником методы более простой и ясной; пусть для него существуют только два наклонения, отношения которых всегда были бы одни и те же и всегда обозначались бы

одними и теми же слогами. Поет ли он или играет на инструменте, пусть он умеет развить наклонение из каждого из двенадцати тонов, которые могут служить ему базисом, и, модулирует ли он в D, в C, в G и т. д., финалом пусть будет всегда la или ut, смотря по наклонению. При таком способе он всегда вас поймет; существенные для правильного пения и игры отношения наклонений всегда будут ясно представляться его уму, исполнение будет чище, и успех быстрее. Нет ничего смешнее того, что французы называют «естественным» сольфеджированием — *au naturel*: это значит отделять идеи от вещи, чтобы заменить их идеями чуждыми, которые ведут только к путанице. Нет ничего естественнее, как сольфеджировать с транспортнкою, когда начальный тон транспортирован. Но я уже слишком много говорю о музыке⁸¹: учите ее, как хотите, лишь бы она всегда оставалась только забавой.

Вот мы хорошо ознакомились с положением посторонних тел по отношению к нашему телу, с их весом, фигурой, цветом, с их твердостью, величиной, расстоянием, с температурой, покоем, движением. Мы узнали, какие из них следует приближать и какие удалять от себя, узнали способ побеждать их сопротивление или противопоставлять ему таковое же, которое предохраняло бы нас от вреда; но этого недостаточно: наше собственное тело непрерывно истощается, оно нуждается в беспрестанном обновлении. Хотя мы имеем способность превращать другие вещества в наше собственное вещество, но и выбор не пустое дело: не все бывает пищей для человека, и из веществ, могущих ею быть, есть более и менее годные, смотря по сложению его породы, смотря по климату, в котором он живет, смотря по его личному темпераменту и по образу жизни, предписываемому ему положением в свете.

Мы умерли бы с голоду или отравились бы, если бы для выбора пищи, годной для нас, пришлось ждать, пока опыт научит нас узнавать ее и выбирать; но Верховная Благодать, сделавшая из удовольствия существ чувствующих — орудие их сохранения, по тому, что приятно вкусу нашему, извещает нас о том, что годится желудку нашему. С точки зрения природы, нет для человека более надежного врача, чем его собственный аппетит; и если взять его в первобытном состоянии, то для меня несомненно, что тогда пища, которую он находил наиболее приятной, была для него вместе с тем самою здоровою.

Даже больше. Создатель печется не только о тех потребностях, которыми он нас наделил, но и о тех, которыми мы сами себя наделяем; и чтобы желание стояло всегда рядом с потребностью, он так устроил, что наши вкусы меняются и искажаются вместе с образом

жизни. Чем более мы удаляемся от естественного состояния, тем больше теряем свои естественные вкусы, или, скорее, привычка создает в нас вторую природу, которою мы так хорошо замещаем первую, что никто между нами уже не знает этой первой.

Отсюда следует, что самые естественные вкусы должны быть и самыми простыми, ибо они именно легче всего видоизменяются, тогда как вкусы, изощренные и раздраженные нашими прихотями, получают такую форму, которая уже не меняется. Человек, не принадлежащий еще ни к какой стране, без труда применится к обычаям какой угодно страны; но человек одной страны не делается уже человеком другой.

Это мне кажется справедливым относительно всех чувств, и особенно справедливо в применении к чувству вкуса. Наша первая пища — молоко; мы лишь постепенно привыкаем к острым вкусам; сначала они нам противны. Плоды, овощи, травы и, наконец, некоторые сорта жареного мяса, без приправы и без соли, составляли пиршество первых людей *. Когда дикарь в первый раз пьет вино, он делает гримасу и выплевывает его; и даже среди нас, кто прожил лет по двадцати, не испробовав крепких напитков, тот не может уже привыкнуть к ним; мы все были бы непьющими, если бы нам не давали вина в молодые наши годы. Наконец, чем проще наши вкусы, тем они терпимее ко всему: отвращение обыкновенное всего возбуждается блюдами сложными; видано ли, чтобы кто-нибудь потерял вкус к воде или хлебу? Вот путь природы; вот, значит, правило и для нас. Станем как можно дольше сохранять у ребенка его первоначальный вкус; пусть пища у него будет обыкновенная и простая, пусть небо его приучается лишь к вкусам, не слишком острым, и пусть не развивается у него вкусов исключительных.

Я не задаюсь здесь вопросом, здоров этот образ жизни или нет; я смотрю на дело не с этой точки зрения. Чтобы предпочесть его, для меня достаточно знать, что он наиболее сообразен с природой и легче всего может применяться к всякому другому. Кто говорит, что детей нужно приучать к такой пище, которую они будут употреблять, ставши взрослыми, тот, мне кажется, рассуждает неправильно. Почему же пища должна быть тою же самою, меж тем как образ жизни их столь различен? Взрослый человек, истощенный трудом, заботами, горем, нуждается в пище сочной, которая приносила бы жизненные силы ⁸³ его мозгу; ребенок, который только что резвился и тело которого растет, нуждается в пище обильной, которая давала бы ему много млечного сока. Кроме того, у взрослого есть уже свое

* См. «Аркадию» Павсания ⁸², а также отрывок из Плутарха, приведенный ниже.

положение, должность, жилище; но кто может быть уверен в том, что судьба готовит ребенку? Не будем давать ему, ни в одном отношении, такой определенной формы, которую, в случае нужды, слишком трудно было бы изменить. Не станем доводить его до того, чтоб он умер с голоду в других странах, если не станет всюду таскать за собою французского повара, или чтобы он говорил со временем, что только во Франции умеют есть. Вот — говоря мимоходом — забавная похвала! Что касается меня, то, напротив, я сказал бы, что именно французы и не умеют есть, раз требуется такое тонкое искусство, чтобы делать блюда их съедобными.

Между различными нашими ощущениями вкус дают те, которые, говоря вообще, наиболее для нас чувствительны. Да и важнее для нас скорее правильно судить о веществах, которые должны составлять часть нашего существа, чем о тех, которые только окружают его. Тысяча вещей безразличны для осязания, слуха, зрения; но нет почти ничего безразличного для вкуса. Кроме того, деятельность этого чувства — совершенно физическая и материальная: оно одно ничего не говорит воображению — по крайней мере в ощущениях его меньше всего участвует воображение, тогда как ко впечатлению всех других чувств подражание и воображение часто примешивают и долю нравственного. Да и, вообще говоря, сердца нежные и сладострастные, характеры пылкие и поистине чувствительные, легко волнуемые другими чувствами, к этому чувству почти равнодушны. Но из этого самого факта, ставящего вкус ниже других чувств и делающего стремление угождать ему более презренным, я, напротив, вывел бы заключение, что самое подходящее средство управлять детьми — это руководить ими посредством их чрева. Стимул чревоугодия предпочтительнее стимула тщеславия, особенно тем, что первое есть позыв природы, непосредственно вытекающий из чувства, а второе — результат людского мнения, подверженный людским прихотям и всякого рода злоупотреблениям. Чревоугодие — страсть детства; эта страсть не может устоять ни перед какою другою; при малейшей конкуренции она исчезает. Да, поверьте мне, ребенок даже слишком скоро перестает думать о том, что есть, и, когда сердце его будет слишком занято, его не станет почти занимать небо. Когда он будет взрослым, тысяча стремительных чувствований придут на смену чревоугодию и то и дело будут раздражать его тщеславие; ибо одна только страсть живет на счет других и в конце концов все их поглощает. Я не раз наблюдал людей, которые придавали большое значение вкусным кускам, которые, просыпаясь, мечтали о том, что будут есть в течение дня, и обеды описывали с большею точностью, чем Полибий⁸⁴ описывал битву; я нашел, что все эти мнимые взрос-

лые были лишь сорокалетними детьми, лишенными крепости и устойчивости — *fruges consumere nati*⁸⁵. Чревоугодие — порок сердец, лишенных содержания. Душа обжоры — вся в его нёбе, он создан лишь для того, чтобы есть; при своей тупой неспособности он лишь за столом — на своем месте, лишь о блюдах он умеет судить: оставим ему эту роль без сожалений; для нас, как и для него, лучше, чтоб он выполнял именно эту роль, а не другую.

Опасение, чтобы чревоугодие не укоренилось в ребенке, способном на кое-что и хорошее, есть опасение мелкого ума. В детстве мы только и думаем, чтобы поесть; в юности мы уже не думаем об этом: нам все вкусно, у нас много и других дел. Впрочем, я не желал бы, чтобы средство, столь низкое, употребляли неумеренно и чтобы честь совершить доброе дело поддерживали вкусным куском. Но раз все детство проходит или должно проходить лишь в играх и резвых забавах, я не вижу, почему бы упражнениям чисто телесным не получать награды материальной и осязаемой. Если маленький житель Майорки, видя корзину на вершине дерева, сбивает ее с помощью своей пращи, то разве не справедливо, что он пользуется ею и что вкусный завтрак восстанавливает силы, потраченные на добывание его*? Если молодой спартанец, подвергаясь риску получить сотню ударов розог, ловко проскользнет в кухню, украдет там живую лисицу и, унося ее под своим платьем, будет исцарапан и искусан ею в кровь; если, из-за стыда быть пойманным, ребенок допустит истерзать себе внутренности, не поморщившись и не испустив ни одного крика, то не будет ли справедливым, чтоб он воспользовался, наконец, своею добычей и съел ее, после того как она изъела его?⁸⁶ Хороший обед никогда не должен быть вознаграждением; но почему бы ему не быть иной раз последствием забот, употребленных на его добывание? Эмиль на пирог, положенный мною на камне, не смотрит как на награду за быстрый бег; он только знает, что единственное средство получить этот пирог — это добежать до него скорее другого.

Это не противоречит только что изложенным мною правилам относительно простоты блюд: ибо, чтобы польстить детскому аппетиту, приходится не возбуждать чувствительность детей, но только удовлетворять ее, а это достигается самыми обыкновенными в мире вещами, если только не стараются утончить вкус детей. Их постоянный аппетит, возбуждаемый необходимостью расти, есть верная приправа, заменяющая для них множество других. Плоды, какое-

* Уже много веков тому назад жители Майорки утратили это искусство; это было в эпоху, когда их прачники пользовались громкой славой.

нибудь печенье, несколько более нежное, чем обыкновенный хлеб, а главное — искусство наделять всем этим умеренно — вот средство вести армии детей хоть на край света, не возбуждая в них потребности в острых вкусах и не рискуя притупить чувствительность их нёба.

Одним из доказательств, что вкус к мясу неестествен в человеке, служат равнодушие детей к этим блюдам и предпочтение, которое все они оказывают растительной пище, как-то: молочному, мучному, плодам и пр. Особенно важно не искажать этого первоначального вкуса и не делать детей плотоядными, если не в видах здоровья, то в видах характера их; ибо каким бы образом ни объясняли опыта, но несомненно, что великие любители мяса в общем более жестоки и люты, чем другие люди: это наблюдение относится ко всем местностям и всем временам. Известно английское варварство *; гавры, напротив, самые кроткие из людей **. Все дикари жестоки, но не нравы их ведут к этому: жестокость эта порождается их пищею. На войну они идут, как на охоту, и с людьми обходятся, как с медведями. В Англии мясники не принимаются даже в свидетели ***, равно как и хирурги. Великие злодеи закаляют себя на убийства, напиваясь кровью. Циклопов, поедающих мясо, Гомер изображает ужасными людьми, а лотофагов — столь любезным народом, что, кто раз испытал их обращение, тот забывал даже свою страну, лишь бы жить с ними ⁸⁹.

«Ты меня спрашиваешь, — говорил Плутарх⁹⁰, — почему Пифагор⁹¹ воздерживался есть мясо животных; я же, напротив, спрашиваю у тебя, какое человеческое мужество должен был иметь первый, кто поднес к устам своим растерзанное мясо, кто разгрыз своими зубами кости испускающего дух зверя, кто велел подать себе мертвые тела — трупы и поглотил своим желудком члены, которые, минуту назад, блеяли, мычали, ходили и видели. Как рука его могла вонзить железо в сердце существа чувствующего? Как взоры его могли вынести смертоубийство? Каким образом мог он смотреть, как выпускают кровь, сдирают кожу, расчленяют бедное, беззащитное жи-

* Я знаю, что англичане очень хвалятся своей человечностью и добрым природным правом своей нации, которую они называют *good natured people* ⁸⁷. Но сколько бы они ни кричали это, никто им не вторит.

** Баниане, которые воздерживаются от всякого мяса строже, чем гавры, почти так же кротки, как и последние ⁸⁸; но так как нравственность их менее чиста и культ менее разумен, то они не так честны.

*** Один из английских переводчиков этой книги⁹² отметил здесь мой промах и то и другое исправил. Мясники и хирурги принимаются в свидетели; но первые не допускаются в присяжные (суд равных) по делам о преступлениях; а хирурги допускаются.

вотное? Как мог он выносить вид трепещущего мяса? Как запах его не перевернул в нем сердце? Как он не брезговал, как не почувствовал отвращения, как не был охвачен ужасом, когда ему пришлось брать в руки нечистоты этих ран, очищать черную и запекшуюся кровь, их покрывающую?

Снятые кожи валялись кругом по земле,
Мясо на вертеле будто рычало в огне...
Без содроганья не мог его есть человек;
Даже в утробе своей он слышал стенанье...

Вот что он должен был представлять себе и чувствовать в первый раз, как пересилил природу, чтоб устроить это ужасное пиршество, в первый раз, как возбудил в нем голод — живой зверь, как ему захотелось насытиться животным, которое пока еще паслось, и он указывал, как нужно зарезать, расчленив и изжарить ту овцу, которая лизала ему руки. Удивляться приходится тем, кто начал эти жестокие пиршества, а не тем, кто отказывается от них: те первые могли бы еще оправдать свое варварство уважительными причинами, которых нет для нашего варварства и отсутствие которых делает нас во сто раз более варварами, чем они.

«О смертные, любимцы богов! — сказали бы нам эти первые люди. — Сравните времена; посмотрите, как счастливы вы и как несчастны были мы! Земля, недавно образованная, и воздух, отягощенный парами, еще не поддавались стройному ходу времен года; течение рек, не установившись, разрушало со всех сторон берега их; разливы, озера, глубокие болота наводняли собою три четверти земной поверхности; оставшая четверть была покрыта дебрями и бесплодными лесами. Земля не производила никаких годных плодов; у нас не было никаких орудий для обработки; мы не знали искусства пользоваться ими, и время жатвы не наступало никогда для тех, кто ничего не сеял. Голод нас не покидал. Зимою мох и древесная кора были обыкновенными нашими кушаньями. Несколько сырых корней пырея или вереска были для нас чистым объедением; а когда люди могли найти буковые плоды, орехи или желуди, то от радости плясали вокруг дуба или бука под звуки какой-нибудь дикой песни, называя землю своею кормилицею и матерью: это было их единственным праздником, это были их единственные игры; вся остальная часть человеческой жизни была только горем, заботой и нищетой.

Наконец, когда земля, обобранная и голая, ничего уже нам не давала, мы, вынужденные из-за самосохранения жестоко оскорблять природу, стали есть сотоварищей по нищете своей, лишь бы только не погибнуть с ними. Но вас, жестокие люди, вас что вынуждает проливать кровь? Посмотрите, какое обилие благ окружает вас!

Сколько плодов производит вам земля, сколько богатств дают вам поля и виноградники, сколько животных доставляют вам молоко, чтобы питать вас, и шерсть, чтобы одевать вас! Чего же еще требуете вы от них? И какая ярость ведет вас к совершению стольких убийств, — вас, пресыщенных благами и по горло заваленных припасами? Зачем клевете вы на вашу мать, обвиняя ее в том, что она не в состоянии кормить вас? Зачем грешите вы против Цереры, изобретательницы священных законов, и против милостивого Вакха, утешителя людей? Как будто даров, расточаемых ими, недостаточно для сохранения человеческого рода! Как у вас хватает духа их сладкие плоды перемешивать на ваших столах с костями и вместе с молоком есть кровь животных, которые дают вам его. Пантеры и львы, которых вы называете дикими зверями, следуют своему инстинкту — поневоле и умерщвляют других животных, чтобы самим жить. Но вы, вы во сто раз более дики, чем они: вы без необходимости подавляете инстинкт, чтобы предаваться своим жестоким наслаждениям. Животные, которых вы едите, не те, которые едят других: вы их не едите — этих плотоядных зверей, вы подражаете им; вам хочется съесть только невинных и кротких животных, которые никому не делают зла, которые привязаны к вам и служат вам, а вы их пожираете в награду за их услуги.

О противоестественный убийца! Если ты упорно утверждаешь, что природа создала тебя пожирать тебе подобных — существа из мяса и костей, чувствующие и живущие, как и ты, так заглуши же в себе ужас, который она внушает тебе к этим ужасным пиршествам; убивай животных сам, — я говорю: собственными твоими руками, без всяких железных орудий, без ножей; раздирай их когтями, как это делают львы и медведи, кусай этого быка и разрывай его на части; вонзи твои когти в его шкуру; ешь живым этого ягненка, пожирай его мясо совершенно теплым, пей его душу вместе с кровью! Ты содрогаешься, тебе страшно чувствовать на зубах трепетание живого мяса? Сострадательный человек! Ты начинаешь тем, что убиваешь животное, и затем ты съедаешь его как бы для того, чтобы заставить умереть его еще раз. Но и этого недостаточно тебе: мертвое мясо все еще отталкивает тебя, твои внутренности не могут его выносить: нужно видоизменить его с помощью огня, сварить, изжарить, приправить снадобьями, которые преобразили бы его; тебе нужны люди, которые бы варили, стряпали, жарили, чтоб избавить тебя от ужаса убийства и обрядить тебе мертвые тела, так чувство вкуса, обманутое этими превращениями, не отталкивало от того, что ему чуждо, и чтобы ты с удовольствием смаковал трупы, вид которых сам по себе едва ли был терпим для глаз».

Отрывок этот не относится к моему сюжету; но я не мог противиться искушению переписать его и думаю, что немногие читатели не будут мною довольны.

Впрочем, какому бы режиму вы ни подчиняли детей, если вы приучаете их только к обыкновенным и простым блюдам, то предоставьте им есть, бегать и играть, сколько им угодно, и затем будьте уверены, что они никогда не будут есть слишком много и не будут страдать несварением желудка; но если вы половину времени морите их голодом и если они найдут средство ускользнуть от вашей бдительности, они, насколько хватит сил, вознаградят себя, они наедятся по горло, до отвала. Аппетит наш бывает чрезмерным только потому, что мы хотим навязать ему другие правила — не природные; вечно регулируя, предписывая, прибавляя, урезывая — мы все делаем с весами в руке; но весы эти соразмерны с нашими фантазиями, а не с нашим желудком. Я постоянно возвращаюсь к своим примерам; у крестьян ларь для хлеба и подвал для плодов всегда отперты, а дети, как и взрослые, не знают, что такое несварение желудка.

Впрочем, если случится, что ребенок наестся слишком много — чего я не считаю возможным при моей методе, — то его так легко развлечь любимыми его забавами, что можно довести даже до изнурения от недостатка пищи, а он этого и не заметит. Каким образом средства, столь верные и легкие, ускользают от внимания всех наставников? Геродот рассказывает⁹², что лидийцам⁹³, страдавшим от крайнего голода, пришло в голову изобрести игры и другие развлечения, с помощью которых они обманывали голод и проводили целые дни, не думая о еде*. Ваши ученые наставники сто раз, может быть, читали это место, но не замечали, как можно применить его к детям. Иной из них, быть может, скажет мне, что ребенок неохотно оставляет обед свой, чтобы идти учить урок. Учитель, вы правы, но об этом развлечении я и не думал.

Чувство запаха по отношению к вкусу играет ту же роль, как чувство зрения по отношению к осязанию: оно предупреждает, уведомляет его, каким образом должно действовать на него то или другое вещество, и располагает помогать ему или избегать, смотря по впечатлению, получаемому заранее. Я слышал, что у дикарей обо-

* Древние историки высказывают множество воззрений, которыми можно было бы воспользоваться, даже если бы факты, предоставляемые ими, были ложны. Но мы не умеем извлекать никакой истинной пользы из истории: ученая критика поглощает все; меж тем не очень важно, чтобы факт был истинным, если только можно извлечь из него полезное наставление. Благоразумные люди должны были бы смотреть на историю как на сборник басен, мораль которых хорошо припоровлепа к человеческому сердцу.

няние дает совершенно иное ощущение, чем у нас, и они совершенно иначе судят о приятных и дурных запахах. Что касается меня, я этому поверил бы. Запахи сами по себе суть слабые ощущения: они потрясают больше воображение, чем чувство, и не столько действуют тем, что дают, сколько тем, чего заставляют ожидать. При таком предложении вкусы одних, уклонившись влечение их образа жизни так далеко от вкусов других, должны вести их и к совершенно противоположным суждениям о вкусовых веществах, а следовательно, и о запахах, которые возвещают об этих вкусах. Татарин должен с таким же удовольствием нюхать вонючий кусок конины, с каким иной наш охотник нюхает полусгнившую куропатку.

Наши ощущения, сопряженные с досугом, как, например, вдыхание запаха цветов в цветнике, должны остаться невоспринимаемыми для людей, которым приходится столь много ходить, что они уже не могут любить прогулок, или для тех, кто недостаточно работает, чтобы находить наслаждение в отдыхе. Люди вечно голодные не могут находить большого удовольствия в благоуханиях, которые не возвещают ни о чем съедобном.

Обоняние — чувство воображения; давая нервам более сильное напряжение, оно должно сильно возбуждать мозг; поэтому-то оно на одну минуту воодушевляет наше самочувствие, а в конце концов истощает его. В сфере любви оно производит довольно известные эффекты: нежное благоухание будуара не такая ничтожная ловушка, как думают; и я не знаю, что лучше — поздравлять или жалеть того благоразумного и мало чувствительного человека, которого запах цветов на груди возлюбленной не заставлял никогда трепетать.

Обоняние, следовательно, не должно быть слишком деятельным в первом возрасте, когда воображение, оживляемое немногими пока еще страстями, почти не восприимчиво к волнениям и когда нет еще достаточно опытности, чтобы одним чувством предвидеть то, что обещает другое. Да и наблюдением вполне подтверждается это следствие; несомненно, что у большинства детей это чувство еще неразвито и почти тупо. Это не потому, что ощущение у них не было так же тонко, а может быть, и более тонко, чем у взрослых, но потому, что, не соединяя с ним никакой другой идеи, они нелегко поддаются чувствованию удовольствия или страдания и не бывают настолько польщенными или обиженными, насколько бываем мы. Я думаю, что, не выходя из этой же самой системы и не прибегая к сравнительной анатомии обоих полов, легко найти причину, почему женщины в общем более живо ощущают запахи, чем мужчины.

Говорят, что дикари Канады с самой юности до того изоцряют обоняние, что хотя имеют собак, но не считают нужным употреблять

их для охоты и сами для себя служат собаками. Я, правда, понимаю, что если бы детей приучали отыскивать свой обед, подобно тому как собака отыскивает дичь, то, может быть, в совершенствовании их обоняния дошли бы до такой же степени; но я не вижу, в сущности, какое полезное применение можно было бы извлечь для них из этого чувства, если не считать ознакомления их с его отношениями к чувству вкуса. Действительно, природа заботливо принуждает нас глубже вникнуть в эти отношения. Действие чувства вкуса она сделала почти нераздельным с действием обоняния, поместивши органы этих чувств по соседству и устроив во рту непосредственное сообщение между ними, так что мы ничего не можем вкушать, не обоняя в то же время. Я желал бы только, чтобы не искажали этих естественных отношений с целью обмануть ребенка, прикрывая, например, приятным ароматом горечь лекарства; ибо разлад между двумя чувствами бывает в этом случае слишком велик, чтобы можно было обмануть ребенка, а так как чувство наиболее деятельное поглощает действие другого, то он принимает лекарства не с меньшим отвращением; отвращение это распространяется на все ощущения, испытываемые им одновременно; в присутствии слабейшего воображение напоминает ему и о другом; очень приятный аромат для него является уже только отвратительным запахом: таким-то образом наша неуместная предосторожность увеличивает сумму неприятных ощущений на счет приятных.

Мне остается поговорить в следующих книгах о развитии здравого смысла, — это нечто вроде шестого чувства и называется у французов *sens commun* — «общим чувством», не столько потому, что оно — общее для всех людей, сколько потому, что оно есть результат хорошо направленной деятельности остальных чувств и знакомит нас с природой вещей путем слияния всех наружных признаков этих вещей. Это шестое чувство не имеет, следовательно, особого органа: оно пребывает лишь в мозгу, и ощущения его, чисто внутренние, называются понятиями или идеями. Числом этих идей именно и измеряется обширность наших познаний; отчетливость и ясность их именно и составляют точность ума, а искусство сопоставлять их друг с другом называется человеческим рассудком. Таким образом, то, что я называл чувственным или детским рассудком, состоит в образовании простых идей путем слияния нескольких ощущений; а то, что я называю интеллектуальным или человеческим рассудком (разумом), заключается в образовании сложных идей путем слияния нескольких простых идей.

Итак, предположив, что моя метода есть метода природы и что я не ошибся в применении ее, мы привели нашего воспитанника

через область ощущений к крайним пределам детского рассудка: первый шаг, который мы сделаем дальше, должен быть уже шагом взрослого. Но прежде чем вступить на это новое поприще, бросим на минуту взгляд на то, которое мы только что прошли. Каждый возраст, каждое состояние жизни имеет свое, соответственное ему, совершенство, род зрелости, ему именно свойственный. Мы часто слышали, как говорят о «законченном человеке»; посмотрим же, что такое законченный ребенок: это зрелище будет для нас более новым, а может быть, не менее и приятным.

Бытие конечных существ столь бедно и столь ограничено, что, когда мы видим только то, что есть, мы никогда не бываем тронуты. Химеры — вот что прикрашивает действительные предметы; и если воображение не придает прелести тому, что на нас действует, то скудное удовольствие, получаемое от предмета, ограничивается органом, а сердце оставляет всегда холодным. Земля, разукрашенная сокровищами осени, выставляет напоказ богатство, которому дивится взор; но это удивление не трогательно: оно порождается скорее размышлением, чем чувствованием. Весною поле, почти голое, ничем еще не покрыто, леса не дают тени, зелень только что пробивается, но сердце тронуту при этом виде. Видя такое возрождение природы, мы чувствуем, как оживаем и сами; нас окружают картины радости, и эти спутники наслаждения — сладкие слезы, всегда готовые присоединиться к любому сладостному чувству, висят уже на наших ресницах; но на картину сбора винограда, как бы ни была она одушевлена, жива и приятна, всегда смотришь сухими глазами.

Отчего эта разница? Оттого, что к зрелищу весны воображение присоединяет и картины времен года, которые должны за нею следовать; к этим нежным почкам, которые видит глаз, оно прибавляет цветы, плоды, тень, а порою и тайны, которые она может прикрыть. Оно воссоединяет в одном пункте времена, которые должны следовать друг за другом, и видит предметы не столько такими, какими они будут, сколько такими, какими желает их видеть, потому что выбор их зависит от него самого. Осенью, напротив, нечего видеть, кроме того, что есть. Если мы захотим добраться до весны, зима останавливает нас, и заледеневшее воображение замирает среди снегов и инея.

Таков источник той прелести, которую мы находим в созерцании прекрасного детства — предпочтительно перед совершенством зрелого возраста. Когда мы испытываем истинное удовольствие при виде взрослого? Тогда, когда воспоминание о его поступках заставляет нас возвращаться назад по следам его жизни и снова, так сказать,

молодит его на наших глазах. Если же мы принуждены рассматривать его таким, как он есть, или представлять его таким, каким он будет в старости, то идея об угасающей природе искореняет в нас всякое удовольствие. Нет никакого удовольствия видеть, как человек идет большими шагами к своей могиле, а образ смерти все обезображивает.

Но когда я представляю себе ребенка — десяти или двенадцати лет — здорового, крепкого, хорошо для своего возраста развившегося, он не возбуждает во мне ни одной идеи, которая не была бы приятна, — ни в настоящем, ни относительно будущего: я вижу его кипучим, живым, воодушевленным, свободным от гнетущей заботы, от утомительной и тяжелой предусмотрительности, всецело отдавшимся своему действительному существованию и наслаждающимся такою полнотою жизни, что она как бы хочет распространиться и вне его. Я вижу его впереди, в другом возрасте, вижу упражняющим чувство, ум, силы, которые со дня на день развиваются и каждую минуту дают о себе знать все новыми и новыми признаками; я созерцаю его ребенком, и он мне нравится; его горячая кровь как бы вновь согревает мою; мне думается, что я живу его жизнью, и жизненность его делает снова меня молодым.

Бьют часы — и какая перемена! В один момент взгляд его омрачается, веселость исчезает; прости — радость, прости — резвые игры! Строгий и сердитый человек берет его за руку, важно говорит ему: «Идите, сударь», — и уводит его. В комнате, куда они входят, я вижу книги. Книги! какое печальное для его возраста убранство! Бедный ребенок предоставляет увлечь себя, бросает взгляд сожаления на все окружающее, замолкает и уходит, с глазами, полными слез, которых он не смеет проливать, с сердцем, полным вздохами, которых не смеет испускать.

О ты, которому ничего подобное не угрожает, для которого ни одно время жизни не бывает порой стеснения и скуки, который наступление дня видит без тревоги, приближение ночи без нетерпения и часы считает только по своим удовольствиям, — ступай сюда, мой счастливец, иди, мой милый питомец, утешить нас своим присутствием в разлуке с этим несчастливцем, иди!.. Он приходит, и я чувствую при его приближении порыв радости, которую, вижу, и он разделяет. Ведь он подходит к своему другу, к своему товарищу, к соучастнику в своих играх; он хорошо уверен, смотря на меня, что не останется долго без развлечения; мы не зависим никогда один от другого, но мы всегда друг с другом в ладу и ни с кем нам так не хорошо, как друг с другом.

Его фигура, поступь, осанка говорят об уверенности и доволь-

стве: лицо его сияет здоровьем; твердая походка придает ему бодрый вид; цвет лица, нежный еще, но не вялый, не носит следов женственной изнеженности; воздух и солнце уже наложили на него отпечаток, достойный его пола; мускулы лица, еще округленные, начинают уже обнаруживать некоторые черты зарождающейся физиономии; глаза, не одушевленные еще огнем чувства, не утратили зато всей своей природной ясности — их не затемнили продолжительные печали; бесконечные слезы не избороздили щек. Посмотрите, какая живость возраста в этих движениях, быстрых, но уверенных, какая твердость, признак независимости, какая опытность, признак многократных упражнений! Вид у него открытый и свободный, но не дерзкий и не тщеславный; лицо, которого не приковывали к книгам, не опущено вниз; нет нужды говорить ему: «поднимите голову», ни стыд, ни страх никогда не принуждали его опускать ее вниз.

Дадим ему место среди собрания. Рассматривайте, расспрашивайте его с полным доверием; не бойтесь ни его навязчивости, ни болтовни, ни нескромных вопросов. Не опасайтесь, что он завладеет вами, что он вздумает занимать вас одной своей особой, так что вы не будете в состоянии от него отделаться.

Не ждите от него также и приятных речей или пересказа того, что ему я натвердил; не ждите ничего, кроме наивной и простой правды — без прикрас, без изысканности и тщеславия. Он и о дурном поступке, который совершил или думает совершить, скажет так же свободно, как о хорошем, несколько не беспокоясь о том действии, которое произведут на вас слова его; он будет пользоваться даром слова во всей простоте первоначального его употребления.

Детям любят предсказывать все хорошее, и всегда возбуждает сожаление поток глупостей, постоянно разрушающий те надежды, которые нам хотелось бы основать на каком-нибудь удачном выражении, случайно попавшем ребенку на язык. Если мой воспитанник редко возбуждает подобные надежды, зато он никогда не возбудит и сожаления, ибо он никогда не говорит бесполезных слов и не тратится на болтовню, которой, как он знает, никто не слушает. Его идеи ограничены, но ясны; если он ничего не знает на память, он много знает на опыте; если он хуже другого ребенка читает в книгах, зато он лучше читает в книге природы; его ум — не в языке, но в голове; памяти у него меньше, чем рассудка; говорить он умеет только на одном языке, но он понимает, что говорит, и если он не говорит так хорошо, как другие, зато он действует лучше, чем они.

Он не знает, что такое рутина, обычай, привычка; что он делал

вчера, это не влияет на то, что он делает сегодня *: он никогда не следует формуле, не уступает перед авторитетом или примером, действует и говорит лишь так, как ему кажется лучшим. Не ждите поэтому от него затверженных речей или заученных манер, но всегда ждите верного выражения его идей и поведения, вытекающего из его склонностей.

Вы найдете у него небольшое число нравственных понятий, относящихся к его настоящему положению, и — ни одного понятия о положении людей в их взаимных отношениях; да и к чему они служили бы ему, коль скоро ребенок не есть еще действительный член общества? Говорите с ним о свободе, собственности, даже о договоре, — это-то он может знать; он знает, почему что — его, то принадлежит ему; а что — не его, то не принадлежит ему; дальше этого он ничего уже не знает. Если заговорите с ним о долге, о послушании, он не будет знать, что вы хотите сказать; прикажете ему что-нибудь — он не послушает; но скажете ему: «Если ты сделаешь мне такое-то удовольствие, я при случае отплачу тем же», — и он тотчас поспешит исполнить вашу просьбу, ибо он ничего лучшего не ищет, как расширить свое владение и приобрести над вами права, в ненарушимости которых уверен. Может быть, даже он не прочь занимать известное место, быть на счету, за что-нибудь слыть; но если им руководит этот последний мотив, он, значит, уже вышел из пределов природы: вы, значит, заранее не загородили хорошенько всех путей к тщеславию.

Со своей стороны, если ему понадобится какая-нибудь помощь, он попросит ее безразлично у первого встречного; он обратился бы за ней и к королю, как к своему слуге: все люди пока еще равны в его глазах. Вы замечаете по виду, с которым он просит, насколько он чувствует, что перед ним ничем не обязаны; он знает, что исполнение его просьбы — милость. Он знает также, что чувство гуманности побуждает соглашаться на просьбы. Выражения его просты и лаконичны. Голос, взгляд, жесты у него — как у существа, одинаково приученного и к удовлетворению просьб, и к отказам. Это — не под-

* Привлекательность привычки происходит от естественной в человеке лени, а лень эта увеличивается от потворства привычкам: гораздо легче делать то, что уже делалось; по протоптанной дороге легче становится идти. К тому же можно заметить, что власть привычки очень сильна над стариками и людьми ленивыми и очень незначительна над молодежью и людьми живого характера. Этот режим хорош лишь для слабых душ, и он их с каждым днем все больше и больше ослабляет. Одна только привычка полезна для детей: это привычка без труда подчиняться необходимости вещей; и для взрослых одна лишь привычка полезна: это — подчиняться без труда разуму. Всякая другая привычка — порок.

лое и раболепное подчинение раба и не властный голос господина; это — скромное доверие к подобному себе, это — благородная и трогательная кротость существа свободного, но чувствительного и слабого, которое просит помощи у существа, тоже свободного, но сильного и благодетельного. Если вы исполните просьбу его, он не станет благодарить вас, но он будет чувствовать, что на нем лежит долг. Если вы отказываете в ней, он не станет жаловаться, не станет настаивать: он знает, что это будет бесполезно; он не скажет себе: «мне отказали», но скажет: «это было невозможно»; а против хорошо осознанной необходимости, как я уже сказал, почти не возмущаются.

Оставьте его одного на свободе и, не говоря ни слова, посмотрите на его действия; заметьте, что он станет делать и как примется за дело. Не имея нужды доказывать себе, что он свободен, он ничего не делает из-за одной прихоти, только для того, чтобы показать, что он может распоряжаться самим собою; разве он не знает, что он всегда сам себе господин? Он резв, легок, проворен; в движениях его видна вся живость его возраста, но вы не видите ни одного, которое не имело бы цели. Что бы он ни задумал сделать, он никогда не предпримет ничего свыше своих сил, ибо он хорошо испытал их и знает; средства у него всегда будут приспособлены к планам, и он редко будет действовать, не уверившись в успехе. Взгляд у него будет внимательный и рассудительный; он не пойдет глупо расспрашивать других о том, что и без того видно, но будет рассматривать сам и, прежде чем расспрашивать, употребит все силы, чтобы самому найти то, чему он хочет научиться. Если попадет в неожиданные затруднения, он растеряется меньше, чем кто-либо другой; если встретится с опасностью, испугается тоже меньше. Так как воображение его остается пока в бездействии и ничего еще не сделано для его возбуждения, то он видит только то, что есть, знает настоящую цену опасности и всегда сохраняет хладнокровие. Необходимость так часто тяготела над ним, что он уже не противится ей: он несет ее иго с самого рождения и хорошо к нему привык; он всегда готов на все.

Занимается он или забавляется, то и другое для него — все равно; игры его суть занятия, и он не чувствует разницы между этим. Во всяком деле он высказывает интерес, который возбуждает улыбку, и свободу, которая так нравится, обнаруживая одновременно и склад своего ума, и круг своих познаний. Разве это не настоящая картина детского возраста, картина очаровательная и милая, когда мы смотрим, как хорошенький ребенок, с живым и веселым взором, довольный и серьезный на вид, с открытою и смеющеюся физионо-

мией делает, играя, самые серьезные вещи и занят глубокомысленно самыми пустыми забавами?

Хотите теперь судить о нем по сравнению? Введите его в круг других детей и оставьте на свободе. Вы скоро увидите, который из детей наиболее выказывает истинное развитие, который ближе к совершенству этого возраста. Между детьми городскими ни один не оказывается ловчее его, но он и сильнее всякого другого. Между маленькими крестьянами он равен другим по силе и всех превосходит ловкостью. Во всем, что по силам детскому уму, он судит, рассуждает, предвидит лучше всех их. Нужно действовать, бегать, прыгать, передвигать предметы, поднимать тяжести, определять расстояния, изобретать игры, выиграть приз? Поневоле скажешь, что природа — к его услугам: так легко он умеет покорить всякую вещь своей воле. Он создан, чтобы руководить, чтобы управлять себе равными: способность, опытность заменяют для него право и власть. Дайте ему какое угодно имя и одежду — все равно: он всюду будет первенствовать, всюду станет главою других; последние всегда будут чувствовать его превосходство над собой: он будет господином, не думая вовсе приказывать; они будут повиноваться, не замечая, что повинуются.

Он достиг детской зрелости, он жил жизнью ребенка, он не покупал своего совершенства ценою своего счастья; напротив, они содействовали одно другому. Приобретши весь разум своего возраста, он был счастлив и свободен, насколько позволяла его физическая организация. Если роковая коса скосит в лице его цвет наших надежд, нам не придется оплакивать сразу и жизнь его, и смерть, мы не обострим своей печали воспоминанием о страданиях, которые ему причинили; мы скажем себе: «по крайней мере, он наслаждался своим детством; мы ничего не заставили его потерять из того, что дала ему природа».

Великое неудобство этого первоначального воспитания в том, что оно понятно лишь для людей дальновидных и что глаза дюжинные видят в ребенке, воспитанном с такою заботливостью, лишь шалуна. Наставник больше думает о своем интересе, чем об интересе своего ученика; он старается доказать, что не теряет понапрасну времени и не даром берет деньги, которые ему платят; он снабжает его такими познаниями, которые, как товар лицом, можно выставить напоказ, когда захочешь; неважно, полезно ли то, чему он учит, — лишь бы это было видным. Без разбора, без толку, он набивает его память сотнями пустяков. Хотят проэкзаменировать ребенка — заставляют его развернуть свой товар; он его раскладывает — все довольны, затем он завертывает снова свой тюк и уходит. Мой воспитанник

не настолько богат; у него нет тюка, чтобы развернуть напоказ, ему нечего показывать, кроме себя самого. А ребенка, как и взрослого, не разглядишь в одну минуту. Где те наблюдатели, которые умеют одним взглядом схватить черты, его характеризующие? Есть такие, но их мало, а на сто тысяч отцов такого не найдется ни одного.

Вопросы слишком многочисленные надоедают и всякому, отбивая охоту, а тем более детям. Через несколько минут внимание их утомляется, они уже не слушают того, что упорно спрашивают у них, и отвечают наугад. Такая манера экзаменовать их бесполезна и полна педантизма; часто одно слово, пойманное на лету, лучше обрисовывает их смысл и ум, чем длинные беседы; но нужно беречься, чтоб это слово не было подсказанным или случайным. Нужно самому иметь много рассудка, чтоб оценить рассудок ребенка.

Я слышал от покойного лорда Гайда ⁹⁴ рассказ о том, как один из его друзей ⁹⁵, вернувшись из Италии после трехлетнего отсутствия, захотел испытать успехи своего девяти- или десятилетнего сына. Они отправились раз вечером вместе с гувернером гулять на равнину, где школьники забавлялись пусканием воздушного змея. Отец, проходя, спрашивает у сына: «Где змей, тень которого — вот здесь?» Не задумываясь, не поднимая головы, ребенок отвечал: «На большой дороге». И действительно, прибавил лорд Гайд, большая дорога была между солнцем и нами. Отец, при этих словах, поцеловал сына и, окончив экзамен, ушел, не говоря ни слова. На следующий день он прислал гувернеру документ на получение пожизненной пенсии — сверх жалованья.

Что за человек — этот отец! И каким обещал быть сын! Вопрос — именно по возрасту; ответ очень прост; но посмотрите, какую он предполагает ясность в детском суждении! Так-то приручал питомец Аристотеля и того знаменитого рысака, которого не мог укротить ни один наездник ⁹⁶.

вопросы нравственного воспитания в связи с задачами общественного формирования личности, настаивал на расширении естественнонаучного образования и сокращении преподавания древних языков.

Руссо знал лично Сен-Пьера, намеревался даже подготовить к изданию его труды.

32. Гоббс Томас (1588—1679) — английский философ-материалист. Основные сочинения Гоббса — «Левинафан, или Материя, форма и власть государства церковного и гражданского» (1651), трилогия «О теле», написанная на латинском языке и состоящая из трех частей: «О теле», «О гражданине», «О человеке».

Гоббсу принадлежит теория возникновения государства на основе общественного договора из естественных догосударственных состояний, когда люди жили разобщенно и во взаимной вражде. Гоббс выдвигал принцип изначального равенства людей.

Труды Гоббса оказали влияние на философские и педагогические взгляды Руссо. В итоге, однако, Руссо пришел к противоположному пониманию сущности человека, чем Гоббс. Автор «Эмиля» считал нравственные качества человека присущими ему от рождения и оцепивал их как добрые по сути. Гоббс же считал, что добродетели и пороки прививаются человеку окружающей средой.

33. Так назывался инструмент для обработки металла.
 34. Сухое печенье (*итал.*).
 35. Во французском языке в формах *ira-t-il*, *va-s-y t* и *s* являются остатками прежних личных окончаний третьего и второго лица. Вставка *t* в форме первого лица *ira-je-t-y*, следовательно, не может быть оправдана аналогией. Ребенок сохраняет в форме первого лица букву *y*, которую для благозвучия обычно здесь опускают.
 36. «Живет и сам не знает, что живет» (*лат.*) (Овидий. Скорби, I, 3).

К н и г а II

Вторая книга «Эмиля» охватывает период детства до 12 лет (с момента освоения ребенком речи).

Руссо испровергает бытовавшие представления о ребенке и детстве. Так, Д. Локк считал дитя *tabula rasa* (чистой доской), французский энциклопедист Морелле — «существом без индивидуальности».

Руссо провозгласил право детей на уважение. Для Эмиля предлагалась программа «прогрессивного, естественного, отрицательного» воспитания. «Прогрессивное» воспитание означало следование в воспитании этапам развития ребенка, не ускоряя насильственно процесса его формирования. Должны быть учтены по-

требности и склонности ребенка. Побудительной силой такого воспитания объявлялось самосовершенствование личности.

«Отрицательное» воспитание предполагало определенное торможение умственного и нравственного развития, чтобы это развитие не опережало возможностей данного возраста.

• В формировании Эмиля до 12 лет особое место отведено физическому воспитанию. Оно рассматривалось как существенный способ создания гармонии между воспитанником и средой (природной и общественной). Руссо первый придавал столь большое значение физическому воспитанию как условию умственного развития. Он исключил даже тень сомнения в необходимости теснейшей взаимосвязи физического и интеллектуального воспитания.

1. Руссо выясняет значение французского слова *enfance*. Первоначально оно означало младенческий возраст. Затем приобрело более широкое значение и стало соответствовать общему понятию «детство».
2. Младенец (франц.).
3. Ребенок (франц.).
4. *Валерий Максим* — древнеримский писатель (I в.). Известен его трактат «О законодательных деяниях и изречениях».
5. Вопрос о выживаемости малолетних детей стоял во времена Руссо во Франции чрезвычайно остро. Так, в 1740-х гг. смертность детей от одного года до трех лет составляла в Париже 43%, в Лионе — 70%.
6. *Фаворин* (II в.) — римский философ, друг Плутарха. Свои работы писал на греческом языке. Трактат Фаворина «Об обязанности матерей самим кормить своих детей» переведен был на французский язык в 1732 г.
7. Руссо цитирует здесь Плутарха (Сравнительные жизнеописания: Фемистокл, 18). *Фемистокл* (525—460 до н. э.) — выдающийся государственный деятель и полководец Афин (Древняя Греция), вождь рабовладельческой демократии.
8. Имеется в виду трактат Руссо «Об общественном договоре, или Принципы политического права», опубликованный в 1762 г.
9. В книге французской писательницы Стефании де Жанлис (1746—1830) «Адель и Теодор» воспитатель французского дофина пишет своему воспитаннику: «Когда вам был всего год, вы получали в колыбели большие почести, чем те, которые вам оказывают теперь: различные сословия приходили приветствовать вас».
10. См.: *Локк Д.* Мысли о воспитании, § 81.
11. *Васко Нуньес Бальбао* (1475—1517) — испанский мореплаватель и путешественник. Первым из европейцев пересек Центральную Америку и вышел к Тихому океану.

12. Дословно это место переводится так: «дает яйцо, чтобы иметь быка».
13. Имеется в виду Д. Дидро и его книга «Естественный ребенок».
14. Речь идет о римском политическом деятеле *Катоне Младшем* (ок. 95—45 до н. э.), о котором известно, что он спросил, почему никто не решается убить диктатора Рима Суллу (см.: *Плутарх. Сравнительные жизнеописания: Катон*, 3).
15. Имеется в виду французский философ *Этьен Бонно Кондильяк* (1715—1783), автор «Трактата об ощущениях» (1754).
16. См.: *Сенека. Письма*, 88. То же место из «Писем» Сенеки приводит Монтень (см.: *Монтень. Опыты*, II, 21).
17. Здесь Руссо возражает педагогам, в частности Локку, предлагавшему как можно раньше начинать обращаться с детьми как со взрослыми (см.: *Локк Д. Мысли о воспитании*, § 95).
18. «Начатками» в XVIII в. называли элементарную грамматику латинского языка.
19. *Вергилий* (70—12 до н. э.) — римский поэт, автор «Энеиды» и «Буколик».
20. Сен-Дени в XVIII в. было сельским предместьем Парижа.
21. Исфагань с X до XVIII в. являлась столицей Персии.
22. Речь идет об описанном древнеримским историком Квинтом Курцием (I в.) эпизоде из жизни Александра Македонского (356—323 до н. э.). Александр получил уведомление, что его врача Филиппа подкупили и что тот намерен отравить своего господина. Александр вручил Филиппу письмо с доносом, а сам выпил напиток, поданный ему врачом (см.: *Курций Квинт. История Александра Великого*, кн. III, гл. 6).
23. Геральдика — вспомогательная историческая дисциплина, изучающая гербы.
24. Ворон и лисица (*франц.*).
25. Басня (*франц.*).
26. Господин ворон, на дереве взгромождаясь. — Здесь и далее басню Лафонтена «Ворона и лисица» даем в подстрочном переводе с французского языка.
27. Держал в своем клюве сыр.
28. Госпожа лисица, запахом привлеченная...
29. Перед ним держала приблизительно такую речь.
30. А! Добрый день, господин ворон!
31. Артикль *le* в данном случае придает слову единичное значение, а артикль *du* — значение собственного имени.
32. Как вы милы! Каким вы мне кажетесь прекрасным!
33. Без лести (сказать), если бы ваше пенье...
34. Соответствовало вашему оперению...
35. Вы были бы фениксом здешних лесов.
36. При этих словах ворон был вне себя от радости.
37. И чтобы показать свой прекрасный голос...

38. Он открывает широкий клюв, выпускает свою добычу.
39. Лисица хватается ее и говорит: «Мой добрый господин...»
40. Поймите, что всякий льстец...
41. Живет за счет того, кто его слушает...
42. Этот урок стоит вполне сыра, без сомнения.
43. Ворон пристыженный и смущенный.
44. Поклялся, но несколько поздно, что его на этом уже не проведут.
45. Имеется в виду басня Лафонтена «Стрекоза и муравей».
46. Имеется в виду басня Лафонтена «Телка, коза и овца в союзе со львом».
47. Имеется в виду басня Лафонтена «Лев и мышь». Употребленное в оригинале слово *toucher* создает игру слов, имея два значения: «мошка» и «мальчишка».
48. В басне Лафонтена «Волк и собака» по совету собаки волк намеревается идти служить людям, которые его будут досыта кормить. Заметив па шее собаки след ошейника, волк поворачивает обратно.
49. «Сказки» написаны Лафонтеном в 1665 г. По содержанию напоминают «Декамерона» Бокаччо.
50. См.: Локк Д. Мысли о воспитании, § 150—153.
51. «Прежде всего нужно будет заботиться о том, чтобы он не возненавидел занятий, которых не может еще любить, и чтобы горечь, испытанная им раз, не мучила его впоследствии, когда пройдут годы невежества» (лат.). Руссо цитирует «Наставление в ораторском искусстве» из книги древнеримского писателя Марка Фабия Квинтилиана (ок. 35—96) «Институты». Во французском переводе «Институты» были впервые опубликованы в 1725 г.
52. Руссо имеет в виду свою службу секретарем г-жи Дюпен — супруги парижского откупщика в 1743 г. Дюпен поручила ему на короткое время воспитание своего сына — де Шенонсо (род. в 1730 г.) (см.: Исповедь, кн. 7, с. 256).
53. Упомянуты пьеса Мольера «Господин Пурсоньяк» и персонаж из этой пьесы.
54. Философией в XVIII в. называли все науки о природе и человеке.
55. «Здесь нет корня» (итал.).
56. Монтень Мишель (1533—1592) — выдающийся представитель позднего Возрождения во Франции.

Основной труд Монтеня — «Опыты». На этот труд часто прямо или косвенно ссылается Руссо в «Эмиле». Монтень был автором и специального педагогического трактата «Об обучении детей» (1580).

В «Опытах» Монтень подверг резкой критике средневековую школу, выступил за сближение воспитания и образования с жизнью, ломку схоластического обучения, полноценное физическое воспитание. Монтень провозгласил необходимость создания светской школы.

По мнению Монтеня, ребенок становится личностью

не столько благодаря приобретаемым знаниям, сколько развив свои способности критического мышления. Монтень придавал большое значение индивидуальности ребенка. Для успеха воспитания необходимо обеспечить разнообразные связи ребенка с окружающим миром, в том числе со знатоками наук, умными и благожелательными взрослыми друзьями, которые познакомят ребенка с духовными ценностями, по мнению Монтеня, заключающимися прежде всего в античности.

Монтень высказывал оригинальные для своего времени идеи о механизме взаимоотношений воспитателя и воспитанника.

В «Эмиле» Руссо развил ряд педагогических идей Монтеня, продолжил критику сословной школы, книжности и схоластики в обучении. Вслед за Монтенем Руссо провозгласил необходимость воспитания ненавязчивого, считающегося на каждом этапе жизни ребенка с его возрастными особенностями, культ здорового физического развития детей.

Однако при известной общности взгляды Монтеня и Руссо на воспитание и образование существенно различаются. Так, ими дана разная оценка роли религии в нравственном воспитании. Монтень подверг сомнению как антигуманные самые постулаты религии, считая тем самым, что религия враждебна идеалам воспитания, которые он выдвигал. Руссо же остался в плену религиозных воззрений и отводил религии важное место в нравственном становлении человека. «Там, где Монтень снимает перед богом шляпу, Руссо становится на колени» — так довольно точно формулирует отношение к религиозному воспитанию двух мыслителей современный французский руссоист Ж. Шато (*Chateau J. Montaigne psychologue et pédagogue. Paris, 1964, p. 136*).

Если Монтень предлагал не откладывать нравственного и умственного формирования, то Руссо призвал притормозить решение задач нравственного и умственного развития. Если Монтень советовал обучать ребенка в школе, давать ему обширные гуманитарные и естественнонаучные знания с раннего возраста, то Руссо рекомендовал решать эти задачи в значительно более позднем возрасте. Ж.-Ж. Руссо, отрицая существующие теории и практику воспитания, создал педагогическую концепцию, обращенную в будущее.

57. *Роллен Шарль* (1661—1741) — французский писатель, автор «Трактата об учении». В трактате предусматривался, в частности, план реформы содержания образования в коллежах. Роллен предлагал центральное место в обучении отвести национальным языку и литературе, а также истории Франции. Идеи Ш. Роллена были использованы в школьной практике.

58. *Флери Клод* (1640—1723) — кардинал Франции, воспитатель будущего французского короля Людовика XV. В своем трактате «О выборе предметов и методов обучения» (1686) К. Флери подверг критике схоластическое обучение.
59. *Круза Жан-Пьер* (1663—1750) — швейцарский математик и педагог, был наставником одного из будущих немецких владетельных князей. Известен как автор педагогических трактатов: «Новые максимы о воспитании детей» и «Воспитание детей».
60. Руссо имеет в виду тогдашнюю моду в дворянской среде одевать детей в военную форму.
61. *Шарден Жан* (1643—1713) — французский путешественник, издал в 1711 г. «Дневник путешествий в Персию и Восточные Индии», сведения из которого приводит Руссо.
62. Трактат Руссо «Письмо к д'Аламберу о зрелищах» написан в 1758 г. Д'Аламбер — французский просветитель, один из создателей «Энциклопедии».
63. Древнегреческий историк Геродот (ок. 490 — ок. 430 до н. э.) так пишет о том, что он увидел на поле битвы между персами и египтянами: «...В одном месте лежат кости персов, в другом египтян... черепа персов так ломки, что их легко продырявить брошенным легким камешком; черепа египтян, напротив, так крепки, что их едва можно разбить ударами камня. Разница эта... зависит от того, что египтяне начиная с детства стригут себе волосы и черепа их грубеют от солнца; по той же причине египтяне не лысеют... Вот почему египтяне имеют крепкие черепа. Что у персов черепа слабые, объясняется следующим обстоятельством: с раннего детства они изнеживают себе черепа употреблением войлочных шапок» (*Геродот. История*, кн. III, 12).
64. Разрабатывая систему физического воспитания, Руссо использует здесь рекомендации Локка (см.: *Локк Д. Мысли о воспитании*, § 7, 10, 17, 18, 22).
65. Подобного выражения (в оригинале «Эмиля» написано *pointure étranglée*) у Монтеня нет.
66. Саламандрой называли мифическое существо, не горящее в огне.
67. То есть Дарданеллы.
68. «Привычное не порождает страсти» (*лат.*).
69. Руссо в «Исповеди» (кн. 1) подробно описывает время, проведенное им в пансионе пастора Ламберсье.
70. В Библии есть эпизод, как в стан Саула под покровом ночи проник враждовавший с ним Давид. Застав Саула спящим, Давид отказался его убивать и покинул лагерь. *Саул* — основатель Израильско-Иудейского царства (конец XI в. до н. э.). *Давид* (конец XI в. — ок. 950 до н. э.) — оруженосец и зять Саула; был запо-

- дозрен в измене и бежал к филистимлянам; после гибели Саула Давид провозглашен был царем Иудеи.
71. В «Энеиде» Вергилия рассказано о том, как осаждавшие Трою греки, узнав, что им удастся взять город, если они завладеют конями союзника троянцев — царя Реза, убили Реза и добыли его коней.
72. Речь идет о герое древнегреческого эпоса Одиссее (Улиссе), пережившем множество приключений и проявившем мужество и отвагу.
73. Имеется в виду отражение внезапного ночного нападения на Женеvu в 1602 г. войск герцога Савойского.
74. То есть расстояние и величина предмета.
75. Кентавр Хирон был наставником юного Ахилла (см.: Гомер. Илиада, XI, 831).
76. В орнамент капители — верхней части колонны античных зданий — входило изображение формы листьев аканта.
77. То есть природы.
78. «Итальянской комедией» назывался в Париже один из театров. В этом театре ставились не только балеты и музыкальные спектакли для взрослых, но и пантомимы для детей.
79. Возможно, что Руссо имеет в виду 7-летнего Моцарта, который поразил парижан своим исполнительским искусством в 1763 г.
80. Вероятно, имеется в виду французский музыковед, современник Руссо де Боажелу.
81. Руссо известен как сочинитель нескольких опер и музыки для балетов. Он — автор статьи по теории музыки в «Энциклопедии». Из «Эмиля» следует, что Руссо отказался от ранее предлагавшегося им цифрового метода записи музыки, о котором он говорил в своем докладе 1742 г. во Французской академии.
82. *Павсаний* (II в.) — греческий географ и историк, автор «Описаний Эллады» в 10 книгах. «Аркадия» — седьмая книга «Описаний».
83. В оригинале *espris*. Очевидно, это декартовское понятие *spiritus animales* (лат.) — жизненные силы.
84. *Полибий* (ок. 205—120 до н. э.) — древнегреческий писатель, автор «Всеобщей истории» в сорока книгах.
85. «Потребляет плоды земли» (лат.) (см.: Гораций. Послания, 1, 2, 27: мы «рождены, чтобы потреблять плоды земли»).
86. Эпизод взят Руссо из Плутарха (Сравнительные жизнеописания: Ликург, 18).
87. Добрый по природе народ (англ.).
88. *Баниане* — одна из каст в средневековой Индии. *Гавры* (гербы) — жители древней Персии, поклонники религиозного учения, которое осуждало кровавые жертвоприношения.
89. См.: Гомер. Одиссея, IX, 94 и др.

Лотофаги — мифический народ, питавшийся цветками лотоса.

90. Ниже приводятся пять глав трактата Плутарха «О питании мясом».
91. *Пифагор* (ок. 580—500 до н. э.) — древнегреческий математик и философ-идеалист.
92. *Геродот*. История, кн. 1, § 94.
93. *Лидийцы* — жители западной части Малой Азии в древности.
94. Имеется в виду *Генри Корнбери*, затем барон *Гайд* (1710—1753) — английский политический деятель, путешественник, писатель. Известен как автор комедии и ряда анонимных сочинений. Гайд является прототипом друга Сен-Пре в романе Руссо «Юлия, или Новая Элоиза».
95. Речь идет о маршале де Бель-Иле.
96. Имеется в виду *Александр Македонский*, воспитателем которого был *Аристотель*. Руссо упоминает рассказанный *Плутархом* эпизод об укрощении юным *Александром* коня *Буцефала* (см.: *Плутарх*. Сравнительные жизнеописания: Александр, 9).

К н и г а III

В этой книге Руссо описывает воспитание своего героя «в третьем состоянии детства», т. е. от 12 до 15 лет. Руссо называет это время «возрастом формирования интеллекта».

1. Армилярная сфера — средневековый астрономический прибор.
2. Колурии — два круга в армилярной сфере, разделяющие экватор и зодиак на четыре равные части.
3. Руссо цитирует неточно. Приводим текст *Формея*: «...Против ребенка, которому делают горькие упреки... и читают наставления» (*Formey. Anti — Emile. Berlin, 1763, p. 104*).
4. Руссо имеет в виду, что *Эмиль*, благодаря фокуснику, обучается сократическим методом. Древнегреческий философ *Сократ* (468—400 или 399 до н. э.) применял со своими учениками метод бесед, ставя перед ними разнообразные вопросы.
5. *Буало-Депрео Никола* (1636—1711) — французский поэт и критик, автор «Сатир», «Посланий», «Поэтического искусства» и др.
6. *Расин Жан* (1639—1699) — французский поэт и драматург, крупнейший представитель литературного классицизма.
7. В *Монморанси*, неподалеку от Парижа, Руссо писал «Эмиля».
8. Бог древних греков *Гермес* отождествлен здесь с богом древних египтян *Тотом*, которому приписывалось